Лев

ТОЛСТОЙ

Крейцерова соната



Крейцерова соната
Лев Николаевич Толстой

Лев Толстой. Крейцерова соната. Повесть
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI

XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
Послесловие к «Крейцеровой сонате»

Лев Толстой
Крейцерова соната
Повесть

А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.
Матфей, V, 28
Говорят ему ученики его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться.
Он же сказал им: не все вмещают слово сие: но кому дано.
Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые сделали себя сами скопцами для царства небесного. Кто может вместить, да вместит.
Матфей, XIX, 10, 11, 12

I

Это было ранней весной. Мы ехали вторые сутки. В вагон входили и выходили едущие на короткие расстояния, но трое ехало, так же как и я, с самого места отхода поезда: некрасивая и немолодая дама, курящая, с измученным лицом, в полумужском пальто и шапочке, ее знакомый, разговорчивый человек лет сорока, с аккуратными новыми вещами, и еще державшийся особняком небольшого роста господин с порывистыми движениями, еще не старый, но с очевидно преждевременно поседевшими курчавыми волосами и с необыкновенно блестящими глазами, быстро перебегавшими с предмета на предмет. Он был одет в старое, от дорогого портного пальто с барашковым воротником и высокую барашковую шапку. Под пальто, когда он расстегивался, видна была поддевка и русская вышитая рубаха. Особенность этого господина состояла еще в том, что он изредка издавал странные звуки, похожие на откашливание или на начатый и оборванный смех.

Господин этот во все время путешествия

старательно избегал общения и знакомства с пассажирами. На заговариванья соседей он отвечал коротко и резко и или читал, или, глядя в окно, курил, или, достав провизию из своего старого мешка, пил чай, или закусывал.

Мне казалось, что он тяготится своим одиночеством, и я несколько раз хотел заговорить с ним, но всякий раз, когда глаза наши встречались, что случалось часто, так как мы сидели наискоски друг против друга, он отворачивался и брался за книгу или смотрел в окно.

Во время остановки, перед вечером второго дня, на большой станции нервный господин этот сходил за горячей водой и заварил себе чай. Господин же с аккуратными новыми вещами, адвокат, как я узнал впоследствии, с своей соседкой, курящей дамой в полумужском пальто, пошли пить чай на станцию.

Во время отсутствия господина с дамой в вагон вошло несколько новых лиц, и в том числе высокий бритый морщинистый старик, очевидно купец, в ильковой шубе и суконном картузе с огромным козырьком. Купец сел против места дамы с адвокатом и тотчас же вступил в разговор с молодым человеком, по виду купеческим приказчиком, вошедшим в вагон тоже на этой

станции.

Я сидел наискоски и, так как поезд стоял, мог в те минуты, когда никто не проходил, слышать урывками их разговор. Купец объявил сначала о том, что он едет в свое имение, которое отстоит только на одну станцию; потом, как всегда, заговорили сначала о ценах, о торговле, говорили, как всегда, о том, как Москва нынче торгует, потом заговорили о Нижегородской ярманке. Приказчик стал рассказывать про кутежи какого-то известного обоим богача-купца на ярманке, но старик не дал ему договорить и стал сам рассказывать про былые кутежи в Кунавине, в которых он сам участвовал. Он, видимо, гордился своим участием в них и с видимой радостью рассказывал, как он вместе с этим самым знакомым сделали раз пьяные в Кунавине такую штуку, что ее надо было рассказать шепотом и что приказчик захохотал на весь вагон, а старик тоже засмеялся, оскалив два желтых зуба.

Не ожидая услышать ничего интересного, я встал, чтобы походить по платформе до отхода поезда. В дверях мне встретились адвокат с дамой, на ходу про что-то оживленно разговаривавшие.

— Не успеете, — сказал мне общительный адвокат, — сейчас второй звонок.

И точно, я не успел дойти до конца вагонов, как раздался звонок. Когда я вернулся, между дамой и адвокатом продолжался оживленный разговор. Старый купец молча сидел напротив них, строго глядя перед собой и изредка неодобрительно жуя зубами.

— Затем она прямо объявила своему супругу, — улыбаясь, говорил адвокат в то время, как я проходил мимо него, — что она не может, да и не желает жить с ним, так как…

И он стал рассказывать далее что-то, чего я не мог расслышать. Вслед за мной прошли еще пассажиры, прошел кондуктор, вбежал артельщик, и довольно долго был шум, из-за которого не слышно было разговора. Когда все затихло и я опять услыхал голос адвоката, разговор, очевидно, с частного случая перешел уже на общие соображения.

Адвокат говорил о том, как вопрос о разводе занимал теперь общественное мнение в Европе и как у нас все чаще и чаще являлись такие же случаи. Заметив, что его голос один слышен, адвокат прекратил свою речь и обратился к старику.

— В старину этого не было, не правда ли? — сказал он, приятно улыбаясь.

Старик хотел что-то ответить, но в это время

поезд тронулся, и старик, сняв картуз, начал креститься и читать шепотом молитву. Адвокат, отведя в сторону глаза, учтиво дожидался. Окончив свою молитву и троекратное крещение, старик надел прямо и глубоко свой картуз, поправился на месте и начал говорить.

— Бывало, сударь, и прежде, только меньше, — сказал он. — По нынешнему времени нельзя этому не быть. Уж очень образованны стали.

Поезд, двигаясь все быстрее и быстрее, погромыхивал на стычках, и мне трудно было расслышать, а интересно было, и я пересел ближе. Сосед мой, нервный господин с блестящими глазами, очевидно, тоже заинтересовался и, не вставая с места, прислушивался.

— Да чем же худо образование? — чуть заметно улыбаясь, сказала дама. — Неужели же лучше так жениться, как в старину, когда жених и невеста и не видали даже друг друга? — продолжала она, по привычке многих дам отвечая не на слова своего собеседника, а на те слова, которые она думала, что он скажет. — Не знали, любят ли, могут ли любить, а выходили за кого попало, да всю жизнь и мучались; так, по-вашему, это лучше? — говорила она, очевидно обращая речь ко мне и к адвокату, но менее всего к старику, с

которым говорила.

— Уж очень образованны стали, — повторил купец, презрительно глядя на даму и оставляя ее вопрос без ответа.

— Желательно бы знать, как вы объясняете связь между образованием и несогласием в супружестве, — чуть заметно улыбаясь, сказал адвокат.

Купец что-то хотел сказать, но дама перебила его.

— Нет, уж это время прошло, — сказала она. Но адвокат остановил ее:

— Нет, позвольте им выразить свою мысль.

— Глупости от образованья, — решительно сказал старик.

— Женят таких, которые не любят друг друга, а потом удивляются, что несогласно живут, — торопилась говорить дама, оглядываясь на адвоката и на меня и даже на приказчика, который, поднявшись с своего места и облокотившись на спинку, улыбаясь, прислушивался к разговору. — Ведь это только животных можно спаривать, как хозяин хочет, а люди имеют свои склонности, привязанности, — очевидно желая уязвить купца, говорила она.

— Напрасно так говорите, сударыня, — сказал

старик, — животное скот, а человеку дан закон.

— Ну да как же жить с человеком, когда любви нет? — все торопилась дама высказывать свои суждения, которые, вероятно, ей казались очень новыми.

— Прежде этого не разбирали, — внушительным тоном сказал старик, — нынче только завелось это. Как что, она сейчас и говорит: «Я от тебя уйду». У мужиков на что, и то эта самая мода завелась. «На, говорит, вот тебе твои рубахи и портки, а я пойду с Ванькой, он кудрявей тебя». Ну вот и толкуй. А в женщине первое дело страх должен быть.

Приказчик посмотрел и на адвоката, и на даму, и на меня, очевидно удерживая улыбку и готовый и осмеять и одобрить речь купца, смотря по тому, как она будет принята.

— Какой же страх? — сказала дама.

— А такой: да убоится своего му-у-ужа! Вот какой страх.

— Ну, уж это, батюшка, время прошло, — даже с некоторой злобой сказала дама.

— Нет, сударыня, этому времени пройти нельзя. Как была она, Ева, женщина, из ребра мужнина сотворена, так и останется до скончания века, — сказал старик, так строго и победительно тряхнув

головой, что приказчик тотчас же решил, что победа на стороне купца, и громко засмеялся.

— Да это вы, мужчины, так рассуждаете, — говорила дама, не сдаваясь и оглядываясь на нас, — сами себе дали свободу, а женщину хотите в терему держать. Сами небось себе все позволяете.

— Позволенья никто не дает, а только что от мужчины в доме ничего не прибудет, а женщина-жена — утлый сосуд, — продолжал внушать купец.

Внушительность интонаций купца, очевидно, побеждала слушателей, и дама даже чувствовала себя подавленной, но все еще не сдавалась.

— Да, но я думаю, вы согласитесь, что женщина — человек, и имеет чувства, как и мужчина. Ну что же ей делать, если она не любит мужа?

— Не любит! — грозно повторил купец, двинув бровями и губами. — Небось полюбит!

Этот неожиданный аргумент особенно понравился приказчику, и он издал одобрительный звук.

— Да нет, не полюбит, — заговорила дама, — а если любви нет, то ведь к этому нельзя же принудить.

— Ну, а как жена изменит мужу, тогда как? —

сказал адвокат.

— Этого не полагается, — сказал старик, — за этим смотреть надо.

— А как случится, тогда как? Ведь бывает же.

— У кого бывает, а у нас не бывает, — сказал старик.

Все помолчали. Приказчик пошевелился, еще подвинулся и, видимо не желая отстать от других, улыбаясь, начал:

— Да-с, вот тоже у нашего молодца скандал один вышел. Тоже рассудить слишком трудно. Тоже попалась такая женщина, что распутевая. И пошла чертить. А малый степенный и с развитием. Сначала с конторщиком. Уговаривал он тоже добром. Не унялась. Всякие пакости делала. Его деньги стала красть. И бил он ее. Что ж, все хужела. С некрещеным, с евреем, с позволенья сказать, свела шашни. Что ж ему делать? Бросил ее совсем. Так и живет холостой, а она слоняется.

— Потому он дурак, — сказал старик. — Кабы он спервоначала не дал ей ходу, а укороту бы дал настоящую, жила бы небось. Волю не давать надо сначала. Не верь лошади в поле, а жене в доме.

В это время пришел кондуктор спрашивать билеты до ближайшей станции. Старик отдал свой билет.

— Да-с, загодя укорачивать надо женский пол, а то все пропадет.

— Ну, а как же вы сами сейчас рассказывали, как женатые люди на ярманке в Кунавине веселятся? — сказал я, не выдержав.

— Эта статья особая, — сказал купец и погрузился в молчанье. Когда раздался свисток, купец поднялся, достал из-под лавки мешок, запахнулся и, приподняв картуз, вышел на тормоз.

II

Только что старик ушел, поднялся разговор в несколько голосов.

— Старого завета папаша, — сказал приказчик.

— Вот Домострой живой, — сказала дама. — Какое дикое понятие о женщине и о браке!

— Да-с, далеки мы от европейского взгляда на брак, — сказал адвокат.

— Ведь главное то, чего не понимают такие люди, — сказала дама, — это то, что брак без любви не есть брак, что только любовь освящает брак и что брак истинный только тот, который освящает любовь.

Приказчик слушал и улыбался, желая запомнить для употребления сколько можно больше из умных разговоров.

В середине речи дамы позади меня послышался звук как бы прерванного смеха или рыдания, и, оглянувшись, мы увидали моего соседа, седого одинокого господина с блестящими глазами, который во время разговора, очевидно интересовавшего его, незаметно подошел к нам. Он стоял, положив руки на спинку сиденья, и, очевидно,

очень волновался: лицо его было красно и на щеке вздрагивал мускул.

— Какая же это любовь… любовь… любовь… освящает брак? — сказал он, запинаясь.

Видя взволнованное состояние собеседника, дама постаралась ответить ему как можно мягче и обстоятельнее.

— Истинная любовь… Есть эта любовь между мужчиной и женщиной, возможен и брак, — сказала дама.

— Да-с, но что разуметь под любовью истинной? — неловко улыбаясь и робея, сказал господин с блестящими глазами.

— Всякий знает, что такое любовь, — сказала дама, очевидно желая прекратить с ним разговор.

— А я не знаю, — сказал господин. — Надо определить, что вы разумеете…

— Как? очень просто, — сказала дама, но задумалась. — Любовь? Любовь есть исключительное предпочтение одного или одной перед всеми остальными, — сказала она.

— Предпочтение на сколько времени? На месяц? На два дни, на полчаса? — проговорил седой господин и засмеялся.

— Нет, позвольте, вы, очевидно, не про то говорите.

— Нет-с, я про то самое.

— Они говорят, — вступился адвокат, указывая на даму, — что брак должен вытекать, во-первых, из привязанности, любви, если хотите, и что если налицо есть таковая, то только в этом случае брак представляет из себя нечто, так сказать, священное. Затем, что всякий брак, в основе которого не заложены естественные привязанности — любовь, если хотите, — не имеет в себе ничего нравственно обязательного. Так ли я понимаю? — обратился он к даме.

Дама движением головы выразила одобрение разъяснению своей мысли.

— Засим… — продолжал речь адвокат, но нервный господин с горевшими огнем теперь глазами, очевидно, с трудом удерживался и, не дав адвокату договорить, начал:

— Нет, я про то самое, про предпочтение одного или одной перед всеми другими, но я только спрашиваю: предпочтение на сколько времени?

— На сколько времени? Надолго, на всю жизнь иногда, — сказала дама, пожимая плечами.

— Да ведь это только в романах, а в жизни никогда. В жизни бывает это предпочтение одного перед другими на года, что очень редко, чаще на месяцы, а то на недели, на дни, на часы, — го-

ворил он, очевидно зная, что он удивляет всех своим мнением, и довольный этим.

— Ах, что вы! Да нет. Нет, позвольте, — в один голос заговорили мы все трое. Даже приказчик издал какой-то неодобрительный звук.

— Да-с, я знаю, — перекрикивал нас седой господин, — вы говорите про то, что считается существующим, а я говорю про то, что есть. Всякий мужчина испытывает то, что вы называете любовью, к каждой красивой женщине.

— Ах, это ужасно, что вы говорите; но есть же между людьми то чувство, которое называется любовью и которое дается не на месяцы и годы, а на всю жизнь?

— Нет, нету. Если допустить даже, что мужчина и предпочел бы известную женщину на всю жизнь, то женщина-то, по всем вероятиям, предпочтет другого, и так всегда было и есть на свете, — сказал он и достал папиросочницу и стал закуривать.

— Но может быть и взаимность, — сказал адвокат.

— Нет-с, не может быть, — возразил он, — так же как не может быть, что в возу гороха две замеченные горошины легли бы рядом. Да кроме того, тут не невероятность одна, тут, наверное,

пресыщение. Любить всю жизнь одну или одного — это все равно что сказать, что одна свечка будет гореть всю жизнь, — говорил он, жадно затягиваясь.

— Но вы все говорите про плотскую любовь. Разве вы не допускаете любви, основанной на единстве идеалов, на духовном сродстве? — сказала дама.

— Духовное сродство! Единство идеалов! — повторил он, издавая свой звук. — Но в таком случае незачем спать вместе (простите за грубость). А то вследствие единства идеалов люди ложатся спать вместе, — сказал он и нервно засмеялся.

— Но позвольте, — сказал адвокат, — факт противоречит тому, что вы говорите. Мы видим, что супружества существуют, что все человечество или большинство его живет брачной жизнью и многие честно проживают продолжительную брачную жизнь.

Седой господин опять засмеялся.

— То вы говорите, что брак основывается на любви, когда же я выражаю сомнение в существовании любви, кроме чувственной, вы мне доказываете существование любви тем, что существуют браки. Да брак-то в наше время один обман!

— Нет-с, позвольте, — сказал адвокат, — я говорю только, что существовали и существуют браки.

— Существуют. Да только отчего они существуют? Они существовали и существуют у тех людей, которые в браке видят нечто таинственное, таинство, которое обязывает перед богом. У тех они существуют, а у нас их нет. У нас люди женятся, не видя в браке ничего, кроме совокупления, и выходит или обман, или насилие. Когда обман, то это легче переносится. Муж и жена только обманывают людей, что они в единобрачии, а живут в многоженстве и в многомужестве. Это скверно, но еще идет; но когда, как это чаще всего бывает, муж и жена приняли на себя внешнее обязательство жить вместе всю жизнь и со второго месяца уж ненавидят друг друга, желают разойтись и все-таки живут, тогда это выходит тот страшный ад, от которого спиваются, стреляются, убивают и отравляют себя и друг друга, — говорил он все быстрее, не давая никому вставить слова и все больше и больше разгорячаясь. Все молчали. Было неловко.

— Да, без сомнения, бывают критические эпизоды в супружеской жизни, — сказал адвокат, желая прекратить неприлично горячий разго-

вор.

— Вы, как я вижу, узнали, кто я? — тихо и как будто спокойно сказал седой господин.

— Нет, я не имею удовольствия.

— Удовольствие небольшое. Я Позднышев, тот, с которым случился тот критический эпизод, на который вы намекаете, тот эпизод, что он жену убил, — сказал он, оглядывая быстро каждого из нас.

Никто не нашелся, что сказать, и все молчали.

— Ну, все равно, — сказал он, издавая свой звук. — Впрочем, извините! А!.. не буду стеснять вас.

— Да нет, помилуйте… — сам не зная, что «помилуйте», сказал адвокат.

Но Позднышев, не слушая его, быстро повернулся и ушел на свое место. Господин с дамой шептались. Я сидел рядом с Позднышевым и молчал, не умея придумать, что сказать. Читать было темно, и потому я закрыл глаза и притворился, что хочу заснуть. Так мы проехали молча до следующей станции.

На станции этой господин с дамой перешли в другой вагон, о чем они переговаривались еще раньше с кондуктором. Приказчик устроился на лавочке и заснул. Позднышев же все курил и пил

заваренный еще на той станции чай.

Когда я открыл глаза и взглянул на него, он вдруг с решительностью и раздражением обратился ко мне:

— Вам, может быть, неприятно сидеть со мной, зная, кто я? Тогда я уйду.

— О нет, помилуйте.

— Ну, так не угодно ли? Только крепок. — Он налил мне чаю.

— Они говорят… И все лгут… — сказал он.

— Вы про что? — спросил я.

— Да все про то же: про эту любовь ихнюю и про то, что это такое. Вы не хотите спать?

— Совсем не хочу.

— Так хотите, я вам расскажу, как я этой любовью самой был приведен к тому, что со мной было?

— Да, если вам не тяжело.

— Нет, мне тяжело молчать. Пейте ж чай. Или слишком крепок?

Чай действительно был как пиво, но я выпил стакан. В это время прошел кондуктор. Он проводил его молча злыми глазами и начал только тогда, когда тот ушел.

III

— Ну, так я расскажу вам… Да вы точно хотите?

Я повторил, что очень хочу. Он помолчал, потер руками лицо и начал:

— Коли рассказывать, то надо рассказывать все с начала: надо рассказать, как и отчего я женился и каким я был до женитьбы.

Жил я до женитьбы, как живут все, то есть в нашем кругу. Я помещик и кандидат университета и был предводителем. Жил до женитьбы, как все живут, то есть развратно, и, как все люди нашего круга, живя развратно, был уверен, что я живу, как надо. Про себя я думал, что я милашка, что я вполне нравственный человек. Я не был соблазнителем, не имел неестественных вкусов, не делал из этого главной цели жизни, как это делали многие из моих сверстников, а отдавался разврату степенно, прилично, для здоровья. Я избегал тех женщин, которые рождением ребенка или привязанностью ко мне могли бы связать меня. Впрочем, может быть, и были дети и были привязанности, но я делал, как будто их не было.

И это-то я считал не только нравственным, но я гордился этим.

Он остановился, издал свой звук, как он делал всегда, когда ему приходила, очевидно, новая мысль.

— А ведь в этом-то и главная мерзость, — вскрикнул он. — Разврат ведь не в чем-нибудь физическом, ведь никакое безобразие физическое не разврат; а разврат, истинный разврат именно в освобождении себя от нравственных отношений к женщине, с которой входишь в физическое общение. А это-то освобождение я и ставил себе в заслугу. Помню, как я мучался раз, не успев заплатить женщине, которая, вероятно полюбив меня, отдалась мне. Я успокоился только тогда, когда послал ей деньги, показав этим, что я нравственно ничем не считаю себя связанным с нею. Вы не качайте головой, как будто вы согласны со мной, — вдруг крикнул он на меня. — Ведь я знаю эту штуку. Вы все, и вы, вы, в лучшем случае, если вы не редкое исключение, вы тех самых взглядов, каких я был. Ну, все равно, вы простите меня, — продолжал он, — но дело в том, что это ужасно, ужасно, ужасно!

— Что ужасно? — спросил я.

— Та пучина заблуждения, в которой мы живем

относительно женщин и отношений к ним. Да-с, не могу спокойно говорить про это, и не потому, что со мной случился этот эпизод, как он говорил, а потому, что с тех пор, как случился со мной этот эпизод, у меня открылись глаза, и я увидал все совсем в другом свете. Все навыворот, все навыворот!..

Он закурил папироску и, облокотившись на свои колени, начал говорить.

В темноте мне не видно было его лицо, только слышен был из-за дребезжания вагона его внушительный и приятный голос.

IV

— Да-с, только перемучавшись, как я перемучался, только благодаря этому я понял, где корень всего, понял, что должно быть, и потому увидал весь ужас того, что есть.

Так изволите видеть, вот как и когда началось то, что привело меня к моему эпизоду. Началось это тогда, когда мне было невступно шестнадцать лет. Случилось это, когда я был еще в гимназии, а брат мой старший был студент первого курса. Я не знал еще женщин, но я, как и все несчастные дети нашего круга, уже не был невинным мальчиком: уже второй год я был развращен мальчишками; уже женщина, не какая-нибудь, а женщина, как сладкое нечто, женщина, всякая женщина, нагота женщины уже мучала меня. Уединения мои были нечистые. Я мучался, как мучаются 0,99 наших мальчиков. Я ужасался, я страдал, я молился и падал. Я уже был развращен в воображении и в действительности, но последний шаг еще не был сделан мною. Я погибал один, но еще не налагая руки на другое человеческое существо. Но вот товарищ брата, студент, весельчак, так называ-

емый добрый малый, то есть самый большой негодяй, выучивший нас и пить и в карты играть, уговорил после попойки ехать туда. Мы поехали. Брат тоже еще был невинен и пал в эту же ночь. И я, пятнадцатилетний мальчишка, осквернил себя самого и содействовал осквернению женщины, вовсе не понимая того, что я делал. Я ведь ни от кого от старших не слыхал, чтоб то, что я делал, было дурно. Да и теперь никто не услышит. Правда, есть это в заповеди, но заповеди ведь нужны только на то, чтобы отвечать на экзамене батюшке, да и то не очень нужны, далеко не так, как заповедь об употреблении «ut» в условных предложениях.

Так от тех старших людей, мнения которых я уважал, я ни от кого не слыхал, чтобы это было дурно. Напротив, я слыхал от людей, которых я уважал, что это было хорошо. Я слышал, что мои борьбы и страдания утишатся после этого, я слышал это и читал, слышал от старших, что для здоровья это будет хорошо; от товарищей же слышал, что в этом есть некоторая заслуга, молодечество. Так что вообще, кроме хорошего, тут ничего не виделось. Опасность болезней? Но и та ведь предвидена. Попечительное правительство заботится об этом. Оно следит за правильной де-

ятельностью домов терпимости и обеспечивает разврат для гимназистов. И доктора за жалованье следят за этим. Так и следует. Они утверждают, что разврат бывает полезен для здоровья, они же и учреждают правильный, аккуратный разврат. Я знаю матерей, которые заботятся в этом смысле о здоровье сыновей. И наука посылает их в дома терпимости.

— Отчего же наука? — сказал я.

— Да кто же доктора? Жрецы науки. Кто развращает юношей, утверждая, что это нужно для здоровья? Они. А потом с ужасной важностью лечат сифилис.

— Да отчего же не лечить сифилис?

— А оттого, что если бы 0,01 тех усилий, которые положены на лечение сифилиса, были положены на искоренение разврата, сифилиса давно не было бы и помину. А то усилия употреблены не на искоренение разврата, а на поощрение его, на обеспечение безопасности разврата. Ну, да не в том дело. Дело в том, что со мной, да и с 0,9, если не больше, не только нашего сословия, но всех, даже крестьян, случилось то ужасное дело, что я пал не потому, что я подпал естественному соблазну прелести известной женщины. Нет, никакая женщина не соблазнила меня, а я пал

потому, что окружающая меня среда видела в том, что было падение, одни — самое законное и полезное для здоровья отправление, другие — самую естественную и не только простительную, но даже невинную забаву для молодого человека. Я и не понимал, что тут есть падение, я просто начал предаваться тем отчасти удовольствиям, отчасти потребностям, которые свойственны, как мне было внушено, известному возрасту, начал предаваться этому разврату, как я начал пить, курить. А все-таки в этом первом падении было что-то особенное и трогательное. Помню, мне тотчас же, там же, не выходя из комнаты, сделалось грустно, грустно, так что хотелось плакать, плакать о погибели своей невинности, о навеки погубленном отношении к женщине. Да-с, естественное, простое отношение к женщине было погублено навеки. Чистого отношения к женщине уж у меня с тех пор не было и не могло быть. Я стал тем, что называют блудником. А быть блудником есть физическое состояние, подобное состоянию морфиниста, пьяницы, курильщика. Как морфинист, пьяница, курильщик уже не нормальный человек, так и человек, познавший нескольких женщин для своего удовольствия, уже не нормальный, а испорченный навсегда

человек — блудник. Как пьяницу и морфиниста можно узнать тотчас же по лицу, по приемам, точно так же и блудника. Блудник может воздерживаться, бороться; но простого, ясного, чистого отношения к женщине, братского, у него уже никогда не будет. По тому, как он взглянет, оглядит молодую женщину, сейчас можно узнать блудника. И я стал блудником и остался таким, и это-то и погубило меня.

V

— Да, так-с. Потом пошло дальше, дальше, были всякого рода отклонения. Боже мой! как вспомню я все мои мерзости в этом отношении, ужас берет! О себе, над которым товарищи смеялись за мою так называемую невинность, я так вспоминаю. А как послышишь о золотой молодежи, об офицерах, о парижанах! И все эти господа и я, когда мы, бывало, тридцатилетние развратники, имеющие на душе сотни самых разнообразных ужасных преступлений относительно женщин, когда мы, тридцатилетние развратники, входим чисто-начисто вымытые, выбритые, надушенные, в чистом белье, во фраке или в мундире в гостиную или на бал — эмблема чистоты — прелесть!

Ведь вы подумайте, что бы должно быть и что есть. Должно бы быть то, что, когда в общество к моей сестре, дочери вступит такой господин, я, зная его жизнь, должен подойти к нему, отозвать в сторону и тихо сказать: «Голубчик, ведь я знаю, как ты живешь, как проводишь ночи и с кем. Тебе здесь не место. Здесь чистые, невинные девушки. Уйди!» Так должно бы быть; а есть то, что, когда

такой господин является и танцует, обнимая ее, с моей сестрой, дочерью, мы ликуем, если он богат и с связями. Авось он удостоит после Ригольбош и мою дочь. Если даже и остались следы, нездоровье, — ничего. Нынче хорошо лечат. Как же, я знаю, несколько высшего света девушек выданы родителями с восторгом за сифилитиков. О! о мерзость! Да придет же время, что обличится эта мерзость и ложь!

И он несколько раз издал свои странные звуки и взялся за чай. Чай был страшно крепкий, не было воды, чтобы его разбавить. Я чувствовал, что меня волновали особенно выпитые мною два стакана. Должно быть, и на него действовал чай, потому что он становился все возбужденнее и возбужденнее. Голос его становился все более и более певучим и выразительным. Он беспрестанно менял позы, то снимал шапку, то надевал ее, и лицо его странно изменялось в той полутьме, в которой мы сидели.

— Ну, вот так я и жил до тридцати лет, ни на минуту не оставляя намерения жениться и устроить себе самую возвышенную, чистую семейную жизнь, и с этой целью приглядывался к подходящей для этой цели девушке, — продолжал он. — Я гвоздался в гное разврата и вместе с тем разгляды-

вал девушек, по своей чистоте достойных меня. Многих я забраковывал именно потому, что они были недостаточно чисты для меня; наконец я нашел такую, которую счел достойной себя. Это была одна из двух дочерей когда-то очень богатого, но разорившегося пензенского помещика.

В один вечер, после того как мы ездили в лодке и ночью, при лунном свете, ворочались домой и я сидел рядом с ней и любовался ее стройной фигурой, обтянутой джерси, и ее локонами, я вдруг решил, что это она. Мне показалось в этот вечер, что она понимает все, все, что я чувствую и думаю, а что чувствую я и думаю самые возвышенные вещи. В сущности же, было только то, что джерси было ей особенно к лицу, также и локоны, и что после проведенного в близости с нею дня захотелось еще большей близости.

Удивительное дело, какая полная бывает иллюзия того, что красота есть добро. Красивая женщина говорит глупости, ты слушаешь и не видишь глупости, а видишь умное. Она говорит, делает гадости, и ты видишь что-то милое. Когда же она не говорит ни глупостей, ни гадостей, а красива, то сейчас уверяешься, что она чудо как умна и нравственна.

Я вернулся в восторге домой и решил, что она

верх нравственного совершенства и что потому-то она достойна быть моей женой, и на другой день сделал предложение.

Ведь что это за путаница! Из тысячи женящихся мужчин не только в нашем быту, но, к несчастью, и в народе, едва ли есть один, который бы не был женат уже раз десять, а то и сто или тысячу, как Дон Жуан, прежде брака. (Есть теперь, правда, я слышу и наблюдаю, молодые люди чистые, чувствующие и знающие, что это не шутка, а великое дело. Помоги им Бог! Но в мое время не было ни одного такого на десять тысяч.) И все знают это и притворяются, что не знают. Во всех романах до подробностей описаны чувства героев, пруды, кусты, около которых они ходят; но, описывая их великую любовь к какой-нибудь девице, ничего не пишется о том, что было с ним, с интересным героем, прежде: ни слова о его посещениях домов, о горничных, кухарках, чужих женах. Если же есть такие неприличные романы, то их не дают в руки, главное, тем, кому нужнее всего это знать, — девушкам. Сначала притворяются перед девушками в том, что того распутства, которое наполняет половину жизни наших городов и деревень даже, что этого распутства совсем нет. Потом так приучаются к этому притворству,

что наконец, как англичане, сами начинают искренно верить, что мы все нравственные люди и живем в нравственном мире. Девушки же, те, бедные, верят в это совсем серьезно. Так верила и моя несчастная жена. Помню, как, уже будучи женихом, я показал ей свой дневник, из которого она могла узнать хотя немного мое прошедшее, главное — про последнюю связь, которая была у меня и о которой она могла узнать от других и про которую я потому-то и чувствовал необходимость сказать ей. Помню ее ужас, отчаяние и растерянность, когда она узнала и поняла. Я видел, что она хотела бросить меня тогда. И отчего она не бросила!

Он издал свой звук, помолчал и отпил еще глоток чаю.

VI

— Нет, впрочем, так лучше, так лучше! — вскрикнул он. — Поделом мне! Но не в том дело. Я хотел сказать, что обмануты тут ведь только одни несчастные девушки. Матери же знают это, особенно матери, воспитанные своими мужьями, знают это прекрасно. И притворяясь, что верят в чистоту мужчин, они на деле действуют совсем иначе. Они знают, на какую удочку ловить мужчин для себя и для своих дочерей.

Ведь мы, мужчины, только не знаем, и не знаем потому, что не хотим знать, женщины же знают очень хорошо, что самая возвышенная, поэтическая, как мы ее называем, любовь зависит не от нравственных достоинств, а от физической близости и притом прически, цвета, покроя платья. Скажите опытной кокетке, задавшей себе задачу пленить человека, чем она скорее хочет рисковать: тем, чтобы быть в присутствии того, кого она прельщает, изобличенной во лжи, жестокости, даже распутстве, или тем, чтобы показаться при нем в дурно сшитом и некрасивом платье, — всякая всегда предпочтет первое. Она

знает, что наш брат все врет о высоких чувствах — ему нужно только тело, и потому он простит все гадости, а уродливого, безвкусного, дурного тона костюма не простит. Кокетка знает это сознательно, но всякая невинная девушка знает это бессознательно, как знают это животные.

От этого эти джерси мерзкие, эти нашлепки на зады, эти голые плечи, руки, почти груди. Женщины, особенно прошедшие мужскую школу, очень хорошо знают, что разговоры о высоких предметах — разговорами, а что нужно мужчине тело и все то, что выставляет его в самом заманчивом свете; и это самое и делается. Ведь если откинуть только ту привычку к этому безобразию, которая стала для нас второй природой, а взглянуть на жизнь наших высших классов как она есть, со всем ее бесстыдством, ведь это один сплошной дом терпимости. Вы не согласны? Позвольте, я докажу, — заговорил он, перебивая меня. — Вы говорите, что женщины в нашем обществе живут иными интересами, чем женщины в домах терпимости, а я говорю, что нет, и докажу. Если люди различны по целям жизни, по внутреннему содержанию жизни, то это различие непременно отразится и во внешности, и внешность будет различная. Но посмотрите на тех, на несчастных

презираемых, и на самых высших светских барынь: те же наряды, те же фасоны, те же духи, то же оголение рук, плеч, грудей и обтягивание выставленного зада, та же страсть к камушкам, к дорогим, блестящим вещам, те же увеселения, танцы и музыка, пенье. Как те заманивают всеми средствами, так и эти. Никакой разницы. Строго определяя, надо только сказать, что проститутки на короткие сроки — обыкновенно презираемы, проститутки на долгие — уважаемы.

VII

— Да, так вот меня эти джерси, и локоны, и нашлепки поймали. Поймать же меня легко было, потому что я воспитан был в тех условиях, при которых, как огурцы на парах, выгоняются влюбляющиеся молодые люди. Ведь наша возбуждающая излишняя пища при совершенной физической праздности есть не что иное, как систематическое разжигание похоти. Удивляйтесь не удивляйтесь, а так. Ведь я сам этого до последнего времени ничего не видал. А теперь увидал. От этого-то меня и мучает то, что никто этого не знает, а говорит такие глупости, как вон та барыня.

Да-с, около меня нынче весной работали мужики на насыпи железной дороги. Обыкновенная пища малого из крестьян — хлеб, квас, лук; он жив, бодр, здоров, работает легкую полевую работу. Он поступает на железную дорогу, и харчи у него — каша и один фунт мяса. Но зато он и выпускает это мясо на шестнадцатичасовой работе с тачкой в тридцать пудов. И ему как раз так. Ну а мы, поедающие по два фунта мяса, дичи и

всякие горячительные яства и напитки, — куда это идет? На чувственные эксессы. И если идет туда, спасительный клапан открыт, все благополучно; но прикройте клапан, как я прикрывал его временно, и тотчас же получается возбуждение, которое, проходя через призму нашей искусственной жизни, выразится влюбленьем самой чистой воды, иногда даже платоническим. И я влюбился, как все влюбляются. И все было налицо: и восторги, и умиленье, и поэзия. В сущности же, эта моя любовь была произведением, с одной стороны, деятельности мамаши и портних, с другой — избытка поглощавшейся мной пищи при праздной жизни. Не будь, с одной стороны, катаний на лодках, не будь портних с талиями и т. п., а будь моя жена одета в нескладный капот и сиди она дома, а будь я, с другой стороны, в нормальных условиях человека, поглощающего пищи столько, сколько нужно для работы, и будь у меня спасительный клапан открыт, — а то он случайно прикрылся как-то на это время, — я бы не влюбился, и ничего бы этого не было.

VIII

— Ну, а тут так подошло: и мое состояние, и платье хорошо, и катанье на лодках удалось. Двадцать раз не удавалось, а тут удалось. Вроде как капкан. Я не смеюсь. Ведь теперь браки так и устраиваются, как капканы. Ведь естественно что? Девка созрела, надо ее выдать. Кажется, как просто, когда девка не урод и есть мужчины, желающие жениться. Так и делалось в старину. Вошла в возраст дева, родители устраивали брак. Так делалось, делается во всем человечестве: у китайцев, индейцев, магометан, у нас в народе; так делается в роде человеческом по крайней мере в 0,99 его части. Только в 0,01 или меньше нас, распутников, нашли, что это нехорошо, и выдумали новое. Да что же новое-то? А новое то, что девы сидят, а мужчины, как на базар, ходят и выбирают. А девки ждут и думают, но не смеют сказать: «Батюшка, меня! нет, меня. Не ее, а меня: у меня, смотри, какие плечи и другое». А мы, мужчины, похаживаем, поглядываем и очень довольны. «Знаю, мол, я не попадусь». Похаживают, посматривают, очень довольны, что это для

них все устроено. Глядь, не поберегся, — хлоп, тут и есть!

— Так как же быть? — сказал я. — Что же, женщине делать предложение?

— Да уж я не знаю как; только если равенство, так равенство. Если нашли, что сватовство унизительно, то уж это в тысячу раз больше. Там права и шансы равны, а здесь женщина или раба на базаре, или привада в капкан. Скажите какой-нибудь матушке или самой девушке правду, что она только тем и занята, чтобы ловить жениха. Боже, какая обида! А ведь они все только это и делают, и больше им делать нечего. И что ведь ужасно — это видеть занятых этим иногда совершенно молоденьких бедных невинных девушек. И опять, если бы это открыто делалось, а то все обман. «Ах, происхождение видов, как это интересно! Ах, Лиза очень интересуется живописью! А вы будете на выставке? Как поучительно! А на тройках, а спектакль, а симфония? Ах, как замечательно! Моя Лиза без ума от музыки. А вы почему не разделяете эти убеждения? А на лодках!..» А мысль одна: «Возьми, возьми меня, мою Лизу! Нет, меня! Ну, хоть попробуй!..» О мерзость! ложь! — заключил он и, допив последний чай, принялся убирать чашки и посуду.

IX

— Да вы знаете, — начал он, укладывая в мешок чай и сахар, — то властвованье женщин, от которого страдает мир, все это происходит от этого.

— Как властвованье женщин? — сказал я. — Правда, преимущества прав на стороне мужчин.

— Да, да, это, это самое, — перебил он меня. — Это самое, то, что я хочу сказать вам, это-то и объясняет то необыкновенное явление, что, с одной стороны, совершенно справедливо то, что женщина доведена до самой низкой степени унижения, с другой стороны — что она властвует. Точно так же как евреи, как они своей денежной властью отплачивают за свое угнетение, так и женщины. «А, вы хотите, чтобы мы были только торговцы. Хорошо, мы, торговцы, завладеем вами», — говорят евреи. «А, вы хотите, чтобы мы были только предмет чувственности, хорошо, мы, как предмет чувственности, и поработим вас», — говорят женщины. Не в том отсутствие прав женщины, что она не может вотировать или быть судьей — заниматься этими делами не составляет никаких прав, — а в том, чтобы в

половом общении быть равной мужчине, иметь право пользоваться мужчиной и воздерживаться от него по своему желанию, по своему желанию избирать мужчину, а не быть избираемой. Вы говорите, что это безобразно. Хорошо. Тогда чтоб и мужчина не имел этих прав. Теперь же женщина лишена того права, которое имеет мужчина. И вот, чтоб возместить это право, она действует на чувственность мужчины, через чувственность покоряет его так, что он только формально выбирает, а в действительности выбирает она. А раз овладев этим средством, она уже злоупотребляет им и приобретает страшную власть над людьми.

— Да где же эта особенная власть? — спросил я.

— Где власть? Да везде, во всем. Пройдите в каждом большом городе по магазинам. Миллионы тут, не оценишь положенных туда трудов людей, а посмотрите, в 0,9 этих магазинов есть ли хоть что-нибудь для мужского употребления? Вся роскошь жизни требуется и поддерживается женщинами. Сочтите все фабрики. Огромная доля их работает бесполезные украшения, экипажи, мебели, игрушки на женщин. Миллионы людей, поколения рабов гибнут в этом каторжном труде на фабриках только для прихоти женщин. Женщины, как царицы, в плену рабства и тя-

желого труда держат 0,9 рода человеческого. А все оттого, что их унизили, лишили их равных прав с мужчинами. И вот они мстят действием на нашу чувственность, уловлением нас в свои сети. Да, все от этого. Женщины устроили из себя такое орудие воздействия на чувственность, что мужчина не может спокойно обращаться с женщиной. Как только мужчина подошел к женщине, так и подпал под ее дурман и ошалел. И прежде мне всегда бывало неловко, жутко, когда я видал разряженную даму в бальном платье, но теперь мне прямо страшно, я прямо вижу нечто опасное для людей и противузаконное, и хочется крикнуть полицейского, звать защиту против опасности, потребовать того, чтобы убрали, устранили опасный предмет.

Да, вы смеетесь! — закричал он на меня. — А это вовсе не шутка. Я уверен, что придет время, и, может быть, очень скоро, что люди поймут это и будут удивляться, как могло существовать общество, в котором допускались такие нарушающие общественное спокойствие поступки, как те прямо вызывающие чувственность украшения своего тела, которые допускаются для женщин в нашем обществе. Ведь это все равно что расставить по гуляньям, по дорожкам всякие

капканы, — хуже! Отчего азартная игра запрещена, а женщины в проституточных, вызывающих чувственность нарядах не запрещены? Они опаснее в тысячу раз!

X

— Ну вот, так-то и меня поймали. Я был то, что называется, влюблен. Я не только представлял ее себе верхом совершенства, я и себя за это время моего жениховства представлял тоже верхом совершенства. Ведь нет того негодяя, который, поискав, не нашел бы негодяев в каком-нибудь отношении хуже себя и который поэтому не мог бы найти повода гордиться и быть довольным собой. Так и я: я женился не на деньгах — корысть была ни при чем, не так, как большинство моих знакомых женились из-за денег или связей, — я был богат, она бедна. Это одно. Другое, чем я гордился, было то, что другие женились с намерением вперед продолжать жить в таком же многоженстве, в каком они жили до брака; я же имел твердое намерение держаться после свадьбы единобрачия, и не было пределов моей гордости перед собой за это. Да, свинья я был ужасная и воображал себе, что я ангел.

Время, пока я был женихом, продолжалось недолго. Без стыда теперь не могу вспомнить это время жениховства! Какая гадость! Ведь подра-

зумевается любовь духовная, а не чувственная. Ну, если любовь духовная, духовное общение, то словами, разговорами, беседами должно бы выразиться это духовное общение. Ничего же этого не было. Говорить бывало, когда мы останемся одни, ужасно трудно. Какая-то это была сизифова работа. Только выдумаешь, что сказать, скажешь, опять надо молчать, придумывать. Говорить не о чем было. Все, что можно было сказать о жизни, ожидавшей нас, устройстве, планах, было сказано, а дальше что? Ведь если бы мы были животные, то так бы и знали, что говорить нам не полагается; а тут, напротив, говорить надо и нечего, потому что занимает не то, что разрешается разговорами. А при этом еще этот безобразный обычай конфет, грубого обжорства сладким и все эти мерзкие приготовления к свадьбе: толки о квартире, спальне, постелях, капотах, халатах, белье, туалетах. Ведь вы поймите, что если женятся по Домострою, как говорил этот старик, то пуховики, приданое, постель — все это только подробности, сопутствующие таинству. Но у нас, когда из десяти брачущихся едва ли есть один, который не только не верит в таинство, но не верит даже в то, что то, что он делает, есть некоторое обязательство, когда из ста мужчин

едва ли один есть уже неженатый прежде и из пятидесяти один, который вперед не готовился бы изменять своей жене при всяком удобном случае, когда большинство смотрит на поездку в церковь только как на особенное условие обладания известной женщиной, — подумайте, какое ужасное значение получают при этом все эти подробности. Выходит, что дело-то все только в этом. Выходит что-то вроде продажи. Развратнику продают невинную девушку и обставляют эту продажу известными формальностями.

XI

— Так все женятся, так и я женился, и начался хваленый медовый месяц. Ведь название-то одно какое подлое! — с злобой прошипел он. — Я ходил раз в Париже по всем зрелищам и зашел смотреть по вывеске женщину с бородой и водяную собаку. Оказалось, что это было больше ничего, как мужчина декольте в женском платье и собака, засунутая в моржовую кожу и плавающая в ванне с водой. Все было очень мало интересно; но когда я выходил, то меня учтиво провожал показыватель и, обращаясь к публике у входа, указывая на меня, говорил: «Вот спросите господина, стоит ли смотреть? Заходите, заходите, по франку с человека!» Мне совестно было сказать, что смотреть не стоит, и показывающий, вероятно, рассчитывал на это. Так, вероятно, бывает и с теми, которые испытали всю мерзость медового месяца и не разочаровывают других. Я тоже не разочаровывал никого, но теперь не вижу, почему не говорить правду. Даже считаю, что необходимо говорить об этом правду. Неловко, стыдно, гадко, жалко и, главное, скучно, до невозможности

скучно! Это нечто вроде того, что я испытывал, когда приучался курить, когда меня тянуло рвать и текли слюни, а я глотал их и делал вид, что мне очень приятно. Наслажденье от куренья, так же как и от этого, если будет, то будет потом: надо, чтоб супруги воспитали в себе этот порок, для того чтоб получить от него наслажденье.

— Как порок? — сказал я. — Ведь вы говорите о самом естественном человеческом свойстве.

— Естественном? — сказал он. — Естественном? Нет, я скажу вам, напротив, что я пришел к убеждению, что это не… естественно. Да, совершенно не… естественно. Спросите у детей, спросите у неразвращенной девушки. Моя сестра очень молодая вышла замуж за человека вдвое старше ее и развратника. Я помню, как мы были удивлены в ночь свадьбы, когда она, бледная и в слезах, убежала от него и, трясясь всем телом, говорила, что она ни за что, ни за что, что она не может даже сказать того, чего он хотел от нее.

Вы говорите: естественно! Естественно есть. И есть радостно, легко, приятно и не стыдно с самого начала; здесь же мерзко, и стыдно, и больно. Нет, это неестественно! И девушка неиспорченная, я убедился, всегда ненавидит это.

— Как же, — сказал я, — как же бы продолжался

род человеческий?

— Да вот как бы не погиб род человеческий! — сказал он злобно-иронически, как бы ожидая этого знакомого ему и недобросовестного возражения. — Проповедуй воздержание от деторождения во имя того, чтобы английским лордам всегда можно было обжираться, — это можно. Проповедуй воздержание от деторождения во имя того, чтобы больше было приятности, — это можно; а заикнись только о том, чтобы воздерживаться от деторождения во имя нравственности, — батюшки, какой крик: род человеческий как бы не прекратился оттого, что десяток-другой хочет перестать быть свиньями. Впрочем, извините. Мне неприятен этот свет, можно закрыть? — сказал он, указывая на фонарь.

Я сказал, что мне все равно, и тогда он поспешно, как все, что он делал, встал на сиденье и задернул шерстяной занавеской фонарь.

— Все-таки, — сказал я, — если бы все признали это для себя законом, род человеческий прекратился бы.

Он не сейчас ответил.

— Вы говорите, род человеческий как будет продолжаться? — сказал он, усевшись опять против меня и широко раскрыв ноги и низко опершись

на них локтями. — Зачем ему продолжаться, роду-то человеческому? — сказал он.

— Как зачем? иначе бы нас не было.

— Да зачем нам быть?

— Как зачем? Да чтобы жить.

— А жить зачем? Если нет цели никакой, если жизнь для жизни нам дана, незачем жить. И если так, то Шопенгауэры и Гартманы, да и все буддисты, совершенно правы. Ну, а если есть цель жизни, то ясно, что жизнь должна прекратиться, когда достигнется цель. Так оно и выходит, — говорил он с видимым волнением, очевидно очень дорожа своей мыслью. — Так оно и выходит. Вы заметьте: если цель человечества — благо, добро, любовь, как хотите; если цель человечества есть то, что сказано в пророчествах, что все люди соединятся воедино любовью, что раскуют копья на серпы и так далее, то ведь достижению этой цели мешает что? Мешают страсти. Из страстей самая сильная, и злая, и упорная — половая, плотская любовь, и потому если уничтожатся страсти и последняя, самая сильная из них, плотская любовь, то пророчество исполнится, люди соединятся воедино, цель человечества будет достигнута, и ему незачем будет жить. Пока же человечество живет, перед ним стоит идеал и, разумеется, иде-

ал не кроликов или свиней, чтобы расплодиться как можно больше, и не обезьян или парижан, чтобы как можно утонченнее пользоваться удовольствиями половой страсти, а идеал добра, достигаемый воздержанием и чистотою. К нему всегда стремились и стремятся люди. И посмотрите, что выходит.

Выходит, что плотская любовь — это спасительный клапан. Не достигло теперь живущее поколение человечества цели, то не достигло оно только потому, что в нем есть страсти, и сильнейшая из них — половая. А есть половая страсть, и есть новое поколение, стало быть, и есть возможность достижения цели в следующем поколении. Не достигло и то, опять следующее, и так до тех пор, пока не достигнется цель, не исполнится пророчество, не соединятся люди воедино. А то ведь что бы вышло? Если допустить, что бог сотворил людей для достижения известной цели, и сотворил бы их или смертными, без половой страсти, или вечными. Если бы они были смертны, но без половой страсти, то вышло бы что? То, что они пожили бы и, не достигнув цели, умерли бы; а чтобы достигнуть цели, богу надо бы сотворять новых людей. Если же бы они были вечны, то положим (хотя это и труднее тем

же людям, а не новым поколениям исправлять ошибки и приближаться к совершенству), положим, они бы достигли после многих тысяч лет цели, но тогда зачем же они? Куда ж их деть? Именно так, как есть, лучше всего… Но, может быть, вам не нравится эта форма выражения, и вы эволюционист? То и тогда выходит то же самое. Высшая порода животных — людская, для того чтобы удержаться в борьбе с другими животными, должна сомкнуться воедино, как рой пчел, а не бесконечно плодиться; должна так же, как пчелы, воспитывать бесполых, то есть опять должна стремиться к воздержанию, а никак не к разжиганию похоти, к чему направлен весь строй нашей жизни. — Он помолчал. — Род человеческий прекратится? Да неужели кто-нибудь, как бы он ни смотрел на мир, может сомневаться в этом? Ведь это так же несомненно, как смерть. Ведь по всем учениям церковным придет конец мира, и по всем учениям научным неизбежно то же самое. Так что же странного, что по учению нравственному выходит то же самое?

Он долго молчал после этого, выпил еще чаю, докурил папироску и, достав из мешка новые, положил их в свою старую запачканную папиросочницу.

— Я понимаю вашу мысль, — сказал я, — нечто подобное утверждают шекеры.

— Да, да, и они правы, — сказал он. — Половая страсть, как бы она ни была обставлена, есть зло, страшное зло, с которым надо бороться, а не поощрять, как у нас. Слова Евангелия о том, что смотрящий на женщину с вожделением уже прелюбодействовал с нею, относятся не к одним чужим женам, а именно — и главное — к своей жене.

XII

— В нашем же мире как раз обратное: если человек еще думал о воздержании, будучи холостым, то, женившись, всякий считает, что теперь воздержание уже не нужно. Ведь эти отъезды после свадьбы, уединения, в которые с разрешения родителей отправляются молодые, — ведь это не что иное, как разрешение на разврат. Но нравственный закон сам за себя отплачивает, когда нарушаешь его. Сколько я ни старался устроить себе медовый месяц, ничего не выходило. Все время было гадко, стыдно и скучно. Но очень скоро стало еще мучительно тяжело. Началось это очень скоро. Кажется, на третий или на четвертый день я застал жену скучною, стал спрашивать, о чем, стал обнимать ее, что, по-моему, было все, чего она могла желать, а она отвела мою руку и заплакала. О чем? Она не умела сказать. Но ей было грустно, тяжело. Вероятно, ее измученные нервы подсказали ей истину о гадости наших сношений; но она не умела сказать. Я стал допрашивать, она что-то сказала, что ей грустно без матери. Мне показалось, что это

неправда. Я стал уговаривать ее, промолчав о матери. Я не понял, что ей просто было тяжело, а мать была только отговорка. Но она тотчас же обиделась за то, что я умолчал о матери, как будто не поверив ей. Она сказала мне, что видит, что я не люблю ее. Я упрекнул ее в капризе, и вдруг лицо ее совсем изменилось, вместо грусти выразилось раздражение, и она самыми ядовитыми словами начала упрекать меня в эгоизме и жестокости. Я взглянул на нее. Все лицо ее выражало полнейшую холодность и враждебность, ненависть почти ко мне. Помню, как я ужаснулся, увидав это. «Как? что? — думал я. — Любовь — союз душ, и вместо этого вот что! Да не может быть, да это не она!» Я попробовал было смягчить ее, но наткнулся на такую непреодолимую стену холодной, ядовитой враждебности, что не успел я оглянуться, как раздражение захватило и меня, и мы наговорили друг другу кучу неприятностей. Впечатление этой первой ссоры было ужасно. Я называл это ссорой, но это была не ссора, а это было только обнаружение той пропасти, которая в действительности была между нами. Влюбленность истощилась удовлетворением чувственности, и остались мы друг против друга в нашем действительном отношении друг к

другу, то есть два совершенно чуждые друг другу эгоиста, желающие получить себе как можно больше удовольствия один через другого. Я называл ссорой то, что произошло между нами; но это была не ссора, а это было только вследствие прекращения чувственности обнаружившееся наше действительное отношение друг к другу. Я не понимал, что это холодное и враждебное отношение было нашим нормальным отношением, не понимал этого потому, что это враждебное отношение в первое время очень скоро опять закрылось от нас вновь поднявшеюся перегонной чувственностью, то есть влюблением.

И я подумал, что мы поссорились и помирились и что больше этого уже не будет. Но в этот же первый медовый месяц очень скоро наступил опять период пресыщения, опять мы перестали быть нужными друг другу, и произошла опять ссора. Вторая ссора эта поразила меня еще больнее, чем первая. Стало быть, первая не была случайностью, а это так и должно быть и так и будет, думал я. Вторая ссора тем более поразила меня, что она возникла по самому невозможному поводу. Что-то такое из-за денег, которых я никогда не жалел и уж никак не мог жалеть для жены. Помню только, что она так как-то повер-

нула дело, что какое-то мое замечание оказалось выражением моего желания властвовать над ней через деньги, на которых я утверждал будто бы свое исключительное право, что-то невозможное, глупое, подлое, несвойственное ни мне, ни ей. Я раздражился, стал упрекать ее в неделикатности, она меня, — и пошло опять. И в словах и в выражении ее лица и глаз я увидал опять ту же, прежде так поразившую меня, жестокую, холодную враждебность. С братом, с приятелями, с отцом, я помню, я ссорился, но никогда между нами не было той особенной, ядовитой злобы, которая была тут. Но прошло несколько времени, и опять эта взаимная ненависть скрылась под влюбленностью, то есть чувственностью, и я еще утешался мыслью, что эти две ссоры были ошибки, которые можно исправить. Но вот наступила третья, четвертая ссора, и я понял, что это не случайность, а что это так должно быть, так и будет, и я ужаснулся тому, что предстоит мне. При этом мучила меня еще та ужасная мысль, что это один я только так дурно, непохоже на то, что я ожидал, живу с женой, тогда как в других супружествах этого не бывает. Я не знал еще тогда, что это общая участь, но что все так же, как я, думают, что это их исключительное несчастие, скрывают это

исключительное, постыдное свое несчастие не только от других, но и от самих себя, сами себе не признаются в этом.

Началось с первых дней и продолжалось все время, и все усиливаясь и ожесточаясь. В глубине души я с первых же недель почувствовал, что я попался, что вышло не то, чего я ожидал, что женитьба не только не счастье, но нечто очень тяжелое, но я, как и все, не хотел признаться себе (я бы не признался себе и теперь, если бы не конец) и скрывал не только от других, но от себя. Теперь я удивляюсь, как я не видал своего настоящего положения. Его можно бы уже видеть потому, что ссоры начинались из таких поводов, что невозможно бывало после, когда они кончались, вспомнить из-за чего. Рассудок не поспевал подделать под постоянно существующую враждебность друг к другу достаточных поводов. Но еще поразительнее была недостаточность предлогов примиренья. Иногда бывали слова, объяснения, даже слезы, но иногда… ох! гадко и теперь вспомнить — после самых жестоких слов друг другу вдруг молча взгляды, улыбки, поцелуи, объятия… Фу, мерзость! Как я мог не видеть всей гадости этого тогда…

XIII

Взошли два пассажира и стали усаживаться на дальней лавочке. Он молчал, пока они усаживались, но как только они затихли, он продолжал, очевидно ни на минуту не теряя нити своей мысли.

— Ведь что, главное, погано, — начал он, — предполагается в теории, что любовь есть нечто идеальное, возвышенное, а на практике любовь ведь есть нечто мерзкое, свиное, про которое и говорить и вспоминать мерзко и стыдно. Ведь недаром же природа сделала то, что это мерзко и стыдно. А если мерзко и стыдно, то так и надо понимать. А тут, напротив, люди делают вид, что мерзкое и стыдное прекрасно и возвышенно. Какие были первые признаки моей любви? А те, что я предавался животным излишествам, не только не стыдясь их, но почему-то гордясь возможности этих физических излишеств, не думая притом нисколько не только о ее духовной жизни, но даже и об ее физической жизни. Я удивлялся, откуда бралось наше озлобление друг к другу, а дело было совершенно ясно: озлобление это было

не что иное, как протест человеческой природы против животного, которое подавляло ее.

Я удивлялся нашей ненависти друг к другу. А ведь это и не могло быть иначе. Эта ненависть была не что иное, как ненависть взаимная сообщников преступления — и за подстрекательство и за участие в преступлении. Как же не преступление, когда она, бедная, забеременела в первый же месяц, а наша свиная связь продолжалась? Вы думаете, что я отступаю от рассказа? Нисколько! Это я все рассказываю вам, как я убил жену. На суде у меня спрашивают, чем, как я убил жену. Дурачье! думают, что я убил ее тогда, ножом, пятого октября. Я не тогда убил ее, а гораздо раньше. Так точно, как они теперь убивают, все, все…

— Да чем же? — спросил я.

— Вот это-то и удивительно, что никто не хочет знать того, что так ясно и очевидно, того, что должны знать и проповедовать доктора, но про что они молчат. Ведь дело ужасно просто. Мужчина и женщина сотворены так, как животное, так что после плотской любви начинается беременность, потом кормление, такие состояния, при которых для женщины, так же как и для ее ребенка, плотская любовь вредна. Женщин и мужчин равное число. Что же из этого следует?

Кажется, ясно. И не нужно большой мудрости, чтобы сделать из этого тот вывод, который делают животные, то есть воздержание. Но нет. Наука дошла до того, что нашла каких-то лейкоцитов, которые бегают в крови, и всякие ненужные глупости, а этого не могла понять. По крайней мере, не слыхать, чтобы она говорила это.

И вот для женщины только два выхода: один — сделать из себя урода, уничтожить или уничтожать в себе по мере надобности способность быть женщиной, то есть матерью, для того чтобы мужчина мог спокойно и постоянно наслаждаться; или другой выход, даже не выход, а простое, грубое, прямое нарушение законов природы, который совершается во всех так называемых честных семьях. А именно тот, что женщина, наперекор своей природе, должна быть одновременно и беременной, и кормилицей, и любовницей, должна быть тем, до чего не спускается ни одно животное. И сил не может хватить. И оттого в нашем быту истерики, нервы, а в народе — кликуши. Вы заметьте, у девушек, у чистых, нет кликушества, только у баб, и у баб, живущих с мужьями. Так у нас. Точно так же и в Европе. Все больницы истеричных полны женщин, нарушающих закон природы. Но ведь

кликуши и пациентки Шарко — это совсем увечные, а полукалек женщин полон мир. Ведь только подумать, какое великое дело совершается в женщине, когда она понесла плод или когда кормит родившегося ребенка. Растет то, что продолжает, заменяет нас. И это-то святое дело нарушается — чем же? — страшно подумать! И толкуют о свободе, правах женщин. Это все равно что людоеды откармливали бы людей пленных на еду и вместе с тем уверяли бы, что они заботятся о их правах и свободе.

Все это было ново и поразило меня.

— Так как же? Если так, то, — сказал я, — выходит, что любить жену можно раз в два года, а мужчина…

— Мужчине необходимо, — подхватил он. — Опять милые жрецы науки уверили всех. Я бы им, этим волхвам, велел исполнять должность тех женщин, которые, по их мнению, необходимы мужчинам, что бы они тогда заговорили? Внушите человеку, что ему необходимы водка, табак, опиум, и все это будет необходимо. Выходит, что бог не понимал того, что нужно, и потому, не спросившись у волхвов, дурно устроил. Извольте видеть, дело не сходится. Мужчине нужно и необходимо, так решили они, удовлетворять

свою похоть, а тут замешалось деторождение и кормление детей, мешающие удовлетворению этой потребности. Как же быть-то? Обратиться к волхвам, они устроят. Они и придумали. Ох, когда это развенчаются эти волхвы с своими обманами? Пора! Дошло уже вот докуда, с ума сходят и стреляются, и все от этого. Да как же иначе? Животные как будто знают, что потомство продолжает их род, и держатся известного закона в этом отношении. Только человек этого знать не знает и не хочет. И озабочен только тем, чтобы иметь как можно больше удовольствия. И это кто же? Царь природы, человек. Ведь вы заметьте, животные сходятся только тогда, когда могут производить потомство, а поганый царь природы — всегда, только бы приятно. И мало того, возводит это обезьянье занятие в перл создания, в любовь. И во имя этой любви, то есть пакости, губит — что же? — половину рода человеческого. Из всех женщин, которые должны бы быть помощницами в движении человечества к истине и благу, он во имя своего удовольствия делает не помощниц, но врагов. Посмотрите, что тормозит повсюду движение человечества вперед? Женщины. А отчего они такие? А только от этого. Да-с, да-с, — повторил он несколько раз

и стал шевелиться, доставать папиросы и курить, очевидно желая несколько успокоиться.

XIV

— Вот такой-то свиньей я и жил, — продолжал он опять прежним тоном. — Хуже же всего было то, что, живя этой скверной жизнью, я воображал, что потому, что я не соблазняюсь другими женщинами, что поэтому я живу честной семейной жизнью, что я нравственный человек и что я ни в чем не виноват, а что если у нас происходят ссоры, то виновата она, ее характер.

Виновата же была, разумеется, не она. Она была такая же, как и все, как большинство. Воспитана она была, как того требует положение женщины в нашем обществе, и поэтому как и воспитываются все без исключения женщины обеспеченных классов и как они не могут не воспитываться. Толкуют о каком-то новом женском образовании. Все пустые слова: образование женщины точно такое, какое должно быть при существующем не притворном, а истинном всеобщем взгляде на женщину.

И образование женщины будет всегда соответствовать взгляду на нее мужчины. Ведь все мы знаем, как мужчина смотрит на женщину:

«Wein, Weiber und Gesang»,[1] и так в стихах поэты говорят. Возьмите всю поэзию, всю живопись, скульптуру, начиная с любовных стихов и голых Венер и Фрин, вы видите, что женщина есть орудие наслаждения; она такова на Трубе, и на Грачевке, и на придворном бале. И заметьте хитрость дьявола: ну, наслажденье, удовольствие, так так бы и знать, что удовольствие, что женщина сладкий кусок. Нет, сначала рыцари уверяли, что они боготворят женщину (боготворят, а все-таки смотрят на нее как на орудие наслаждения). Теперь уже уверяют, что уважают женщину. Одни уступают ей место, поднимают ей платки; другие признают ее права на занимание всех должностей, на участие в правлении и т. д. Это все делают, а взгляд на нее все тот же. Она орудие наслаждения. Тело ее есть средство наслаждения. И она знает это. Все равно как рабство. Рабство ведь есть не что иное, как пользованье одних подневольным трудом многих. И потому, чтобы рабства не было, надо, чтобы люди не желали пользоваться подневольным трудом других, считали бы это грехом или стыдом. А между тем возьмут отменят внешнюю форму рабства,

[1] Примечания: 1
Вино, женщины и песни (*нем.*).

устроят так, что нельзя больше совершать купчих на рабов, и воображают и себя уверяют, что рабства уже нет, и не видят и не хотят видеть того, что рабство продолжает быть, потому что люди точно так же любят и считают хорошим и справедливым пользоваться трудами других. А как скоро они считают это хорошим, то всегда найдутся люди, которые сильнее или хитрее других и сумеют это сделать. То же и с эмансипацией женщины. Рабство женщины ведь только в том, что люди желают и считают очень хорошим пользоваться ею как орудием наслаждения. Ну, и вот освобождают женщину, дают ей всякие права, равные мужчине, но продолжают смотреть на нее как на орудие наслаждения, так воспитывают ее и в детстве и общественным мнением. И вот она все такая же приниженная, развращенная раба, и мужчина все такой же развращенный рабовладелец.

Освобождают женщину на курсах и в палатах, а смотрят на нее как на предмет наслаждения. Научите ее, как она научена у нас, смотреть так на самое себя, и она всегда останется низшим существом. Или она будет с помощью мерзавцев-докторов предупреждать зарождение плода, то есть будет вполне проститутка, спустившаяся не

на ступень животного, но на ступень вещи, или она будет то, что она есть в большей части случаев, — больной душевно, истеричной, несчастной, какие они и есть, без возможности духовного развития.

Гимназии и курсы не могут изменить этого. Изменить это может только перемена взгляда мужчин на женщин и женщин самих на себя. Переменится это только тогда, когда женщина будет считать высшим положением положение девственницы, а не так, как теперь, высшее состояние человека — стыдом, позором. Пока же этого нет, идеал всякой девушки, какое бы ни было ее образование, будет все-таки тот, чтобы привлечь к себе как можно больше мужчин, как можно больше самцов, с тем чтобы иметь возможность выбора.

А то, что одна побольше знает математики, а другая умеет играть на арфе, — это ничего не изменит. Женщина счастлива и достигает всего, чего она может желать, когда она обворожит мужчину. И потому главная задача женщины — уметь обвораживать его. Так это было и будет. Так это в девичьей жизни в нашем мире, так продолжается и в замужней. В девичьей жизни это нужно для выбора, в замужней — для власт-

вованья над мужем.

Одно, что прекращает или хоть подавляет на время это, это — дети, и то тогда, когда женщина не урод, то есть сама кормит. Но тут опять доктора.

С моей женой, которая сама хотела кормить и кормила следующих пятерых детей, случилось с первым же ребенком нездоровье. Доктора эти, которые цинически раздевали и ощупывали ее везде, за что я должен был их благодарить и платить им деньги, — доктора эти милые нашли, что она не должна кормить, и она на первое время лишена была того единственного средства, которое могло избавить ее от кокетства. Кормила кормилица, то есть мы воспользовались бедностью, нуждой и невежеством женщины, сманили ее от ее ребенка к своему и за это одели ее в кокошник с галунами. Но не в этом дело. Дело в том, что в это самое время ее свободы от беременности и кормления в ней с особенной силой проявилось прежде заснувшее это женское кокетство. И во мне, соответственно этому, с особенной же силой проявились мучения ревности, которые не переставая терзали меня во все время моей женатой жизни, как они и не могут не терзать всех тех супругов, которые живут с женами, как я жил, то

есть безнравственно.

XV

— Я во все время моей женатой жизни никогда не переставал испытывать терзания ревности. Но были периоды, когда я особенно резко страдал этим. И один из таких периодов был тот, когда после первого ребенка доктора запретили ей кормить. Я особенно ревновал в это время, во-первых, потому, что жена испытывала то свойственное матери беспокойство, которое должно вызывать беспричинное нарушение правильного хода жизни; во-вторых, потому, что, увидав, как она легко отбросила нравственную обязанность матери, я справедливо, хотя и бессознательно, заключил, что ей так же легко будет отбросить и супружескую, тем более что она была совершенно здорова и, несмотря на запрещение милых докторов, кормила следующих детей сама и выкормила прекрасно.

— Однако вы не любите докторов, — сказал я, заметив особенно злое выражение голоса всякий раз, как он упоминал только о них.

— Тут не дело любви и не любви. Они погубили мою жизнь, как они губили и губят жизнь тысяч,

сотен тысяч людей, а я не могу не связывать следствия с причиной. Я понимаю, что им хочется, так же как и адвокатам и другим, наживать деньги, и я бы охотно отдал им половину своего дохода, и каждый, если бы понимал то, что они делают, охотно бы отдал им половину своего достатка, только чтобы они не вмешивались в вашу семейную жизнь, никогда бы близко не подходили к вам. Я ведь не собирал сведений, но я знаю десятки случаев — их пропасть, — в которых они убили то ребенка в утробе матери, уверяя, что мать не может разродиться, а мать потом рожает прекрасно, то матерей под видом каких-то операций. Ведь никто не считает этих убийств, как не считали убийств инквизиции, потому что предполагалось, что это на благо человечества. Перечесть нельзя преступлений, совершаемых ими. Но все эти преступления ничто в сравнении с тем нравственным растлением материализма, которое они вносят в мир, особенно через женщин. Уж не говорю про то, что если только следовать их указаниям, то благодаря заразам везде, во всем, людям надо не идти к единению, а к разъединению: всем надо, по их учению, сидеть врозь и не выпускать изо рта спринцовки с карболовой кислотой (впрочем, открыли, что и

она не годится). Но и это ничего. Яд главный — в развращении людей, женщин в особенности.

Нынче уж нельзя сказать: «Ты живешь дурно, живи лучше», — нельзя этого сказать ни себе, ни другому. А если дурно живешь, то причина в ненормальности нервных отправлений или т. п. И надо пойти к ним, а они пропишут на тридцать пять копеек в аптеке лекарства, и вы принимайте. Вы сделаетесь еще хуже, тогда еще лекарства и еще доктора. Отличная штука!

Но не в этом дело. Я только говорил про то, что она прекрасно сама кормила детей и что это ношение и кормление детей одно спасало меня от мук ревности. Если бы не это, все случилось бы раньше. Дети спасали меня и ее. В восемь лет у ней родилось пять человек детей. И всех она кормила сама.

— Где же они теперь, ваши дети? — спросил я.

— Дети? — испуганно переспросил он.

— Извините меня, может быть, вам тяжело вспоминать?

— Нет, ничего. Детей моих взяла моя свояченица и ее брат. Они не дали их мне. Я им отдал состояние, а их они мне не дали. Ведь я вроде сумасшедшего. Я теперь еду от них. Я видел их, но мне их не дадут. А то я воспитаю их так, что

они не будут такими, как их родители. А надо, чтоб были такие же. Ну, да что делать! Понятно, что мне их не дадут и не поверят. Да я и не знаю, был ли бы я в силах воспитать их. Я думаю, нет. Я — развалина, калека. Одно во мне есть. Я знаю. Да, это верно, что я знаю то, что все не скоро еще узнают.

Да, дети живы и растут такими же дикарями, как и все вокруг них. Я видел их, три раза видел. Ничего я не могу для них сделать. Ничего. Еду к себе теперь на юг. У меня там домик и садик.

Да, не скоро еще люди узнают то, что я знаю. Много ли железа и какие металлы в солнце и звездах — это скоро узнать можно; а вот то, что обличает наше свинство, это трудно, ужасно трудно…

Вы хоть слушаете, я и то благодарен.

XVI

— Вот вы напомнили про детей. Опять какое страшное лганье идет про детей. Дети — благословенье божие, дети — радость. Ведь это все ложь. Все это было когда-то, но теперь ничего подобного нет. Дети — мученье, и больше ничего. Большинство матерей так прямо и чувствуют и иногда нечаянно прямо так и говорят это. Спросите у большинства матерей нашего круга достаточных людей, они вам скажут, что от страха того, что дети их могут болеть и умирать, они не хотят иметь детей, не хотят кормить, если уж родили, для того чтобы не привязаться и не страдать. Наслажденье, которое доставляет им ребенок прелестью его, этих ручек, ножек, тельца всего, удовольствие, доставляемое ребенком, — меньше страданья, которое они испытывают — не говоря уже от болезни или потери ребенка, но от одного страха за возможность болезней и смерти. Взвесив выгоды и невыгоды, оказывается, что невыгодно и потому нежелательно иметь детей. Они это прямо, смело говорят, воображая, что эти чувства происходят в них от

любви к детям, чувства хорошего и похвального, которым они гордятся. Они не замечают того, что этим рассуждением они прямо отрицают любовь, а утверждают только свой эгоизм. Для них меньше удовольствия от прелести ребенка, чем страданий от страха за него, и потому не надо того ребенка, которого они будут любить. Они жертвуют не собою для любимого существа, а имеющим быть любимым существом для себя.

Ясно, что это не любовь, а эгоизм. Но и осудить их, матерей достаточных семей, за этот эгоизм — не поднимается рука, когда вспомнишь все то, что они перемучаются от здоровья детей благодаря опять тем же докторам в нашей господской жизни. Как вспомню только, даже теперь, жизнь и состояние жены в первое время, когда было трое, четверо детей и она вся была поглощена ими, — ужас берет. Жизни нашей не было совсем. Это была какая-то вечная опасность, спасенье от нее, вновь наступившая опасность, вновь отчаянные усилия и вновь спасенье — постоянно такое положение, как на гибнущем корабле. Иногда мне казалось, что это нарочно делалось, что она прикидывалась беспокоящейся о детях, для того чтобы победить меня. Так это заманчиво, просто разрешало в ее пользу все вопросы. Мне казалось

иногда, что все, что она в этих случаях делала и говорила, — она делала и говорила нарочно. Но нет, она сама страшно мучалась и казнилась постоянно с детьми, с их здоровьем и болезнями. Это была пытка для нее и для меня тоже. И нельзя ей было не мучаться. Ведь влечение к детям, животная потребность кормить, лелеять, защищать их — была, как она и есть у большинства женщин, но не было того, что есть у животных, — отсутствия воображения и рассудка. Курица не боится того, что может случиться с ее цыпленком, не знает всех тех болезней, которые могут постигнуть его, не знает всех тех средств, которыми люди воображают, что они могут спасать от болезней и смерти. И дети для нее, для курицы, не мученье. Она делает для своих цыплят то, что ей свойственно и радостно делать; дети для нее радость. И когда цыпленок начинает болеть, ее заботы очень определенные: она греет, кормит его. И, делая это, знает, что она делает все, что нужно. Издохнет цыпленок, она не спрашивает себя, зачем он умер, куда он ушел, поквохчет, потом перестанет и продолжает жить по-прежнему. Но для наших несчастных женщин и для моей жены было не то. Уж не говоря о болезнях — как лечить, о том, как воспитывать, растить,

она со всех сторон слышала и читала бесконечно разнообразные и постоянно изменяющиеся правила. Кормить так, тем; нет, не так, не тем, а вот этак; одевать, поить, купать, класть спать, гулять, воздух, — на все это мы, она преимущественно, узнавала всякую неделю новые правила. Точно со вчерашнего дня начали рожаться дети. А не так накормили, не так искупали, не вовремя, и заболел ребенок, и оказывается, что виновата она, сделала не то, что надо делать.

Это пока здоровье. И то мученье. Но уж если заболел, тогда кончено. Совершенный ад. Предполагается, что болезнь можно лечить и что есть такая наука и такие люди — доктора, и они знают. Не все, но самые лучшие знают. И вот ребенок болен, и надо попасть на этого самого лучшего, того, который спасает, и тогда ребенок спасен; а не захватил этого доктора или живешь не в том месте, где живет этот доктор, — и ребенок погиб. И это не ее исключительная вера, а это вера всех женщин ее круга, и со всех сторон она слышит только это: у Екатерины Семеновны умерло двое, потому что не позвали вовремя Ивана Захарыча, а у Марьи Ивановны Иван Захарыч спас старшую девочку; а вот у Петровых вовремя, по совету доктора, разъехались по гостиницам — и остались живы,

а не разъехались — и померли дети. А у той был слабый ребенок, переехали, по совету доктора, на юг — и спасли ребенка. Как же тут не мучаться и не волноваться всю жизнь, когда жизнь детей, к которым она животно привязана, зависит от того, что она вовремя узнает то, что скажет об этом Иван Захарыч. А что скажет Иван Захарыч, никто не знает, менее всего он сам, потому что он очень хорошо знает, что он ничего не знает и ничему помочь не может, а сам только виляет как попало, чтобы только не перестали верить, что он что-то знает. Ведь если бы она была совсем животное, она так бы не мучалась; если же бы она была совсем человек, то у ней была бы вера в бога, и она бы говорила и думала, как говорят верующие бабы: «Бог дал, бог и взял, от бога не уйдешь». Она бы думала, что жизнь и смерть как всех людей, так и ее детей вне власти людей, а во власти только бога, и тогда бы она не мучалась тем, что в ее власти было предотвратить болезни и смерти детей, а она этого не сделала. А то для нее положение было такое: даны самые хрупкие, подверженные самым бесчисленным бедствиям, слабые существа. К существам этим она чувствует страстную, животную привязанность. Кроме того, существа эти поручены ей, а вместе с тем

средства сохранения этих существ скрыты от нас и открыты совсем чужим людям, услуги и советы которых можно приобретать только за большие деньги, и то не всегда.

Вся жизнь с детьми и была для жены, а потому и для меня, не радость, а мука. Как же не мучаться? Она и мучалась постоянно. Бывало, только что успокоимся от какой-нибудь сцены ревности или просто ссоры и думаем пожить, почитать и подумать; только возьмешься за какое-нибудь дело, вдруг получается известие, что Васю рвет, или Маша сходила с кровью, или у Андрюши сыпь, ну и, конечно, жизни уж нет. Куда скакать, за какими докторами, куда отделить? И начинаются клистиры, температуры, микстуры и доктора. Не успеет это кончиться, как начинается что-нибудь другое. Правильной, твердой семейной жизни не было. А было, как я вам говорил, постоянное спасение от воображаемых и действительных опасностей. Так ведь это теперь в большинстве семей. В моей же семье было особенно резко. Жена была чадолюбива и легковерна. Так что присутствие детей не только не улучшало нашей жизни, но отравляло ее. Кроме того, дети — это был для нас новый повод к раздору. С тех пор как были дети и чем больше они росли, тем чаще

именно сами дети были и средством и предметом раздора. Не только предметом раздора, но дети были орудием борьбы; мы как будто дрались друг с другом детьми. У каждого из нас был свой любимый ребенок — орудие драки. Я дрался больше Васей, старшим, а она Лизой. Кроме того, когда дети стали подрастать и определились их характеры, сделалось то, что они стали союзниками, которых мы привлекли каждый на свою сторону. Они страшно страдали от этого, бедняжки, но нам, в нашей постоянной войне, не до того было, чтобы думать о них. Девочка была моя сторонница, мальчик же старший, похожий на нее, ее любимец, часто был ненавистен мне.

XVII

— Ну-с, так и жили. Отношения становились все враждебнее и враждебнее. И наконец дошли до того, что уже не разногласие производило враждебность, но враждебность производила разногласие: что бы она ни сказала, я уж вперед был не согласен, и точно так же и она.

На четвертый год с обеих сторон решено было как-то само собой, что понять друг друга, согласиться друг с другом мы не можем. Мы перестали уже пытаться договориться до конца. О самых простых вещах, в особенности о детях, мы оставались неизменно каждый при своем мнении. Как я теперь вспоминаю, мнения, которые я отстаивал, были вовсе мне не так дороги, чтобы я не мог поступиться ими; но она была противного мнения, и уступить — значило уступить ей. А этого я не мог. Она тоже. Она, вероятно, считала себя всегда совершенно правой передо мной, а уж я в своих глазах был всегда свят перед нею. Вдвоем мы были почти обречены на молчание или на такие разговоры, которые, я уверен, животные могут вести между собой: «Который час? Пора

спать. Какой нынче обед? Куда ехать? Что написано в газете? Послать за доктором. Горло болит у Маши». Стоило на волосок выступить из этого до невозможного сузившегося кружка разговоров, чтобы вспыхнуло раздражение. Выходили стычки и выражения ненависти за кофе, скатерть, пролетку, за ход в винте, — все дела, которые ни для того, ни для другого не могли иметь никакой важности. Во мне, по крайней мере, ненависть к ней часто кипела страшная! Я смотрел иногда, как она наливала чай, махала ногой или подносила ложку ко рту, шлюпала, втягивала в себя жидкость, и ненавидел ее именно за это, как за самый дурной поступок. Я не замечал тогда, что периоды злобы возникали во мне совершенно правильно и равномерно, соответственно периодам того, что мы называли любовью. Период любви — период злобы; энергический период любви — длинный период злобы, более слабое проявление любви — короткий период злобы. Тогда мы не понимали, что эта любовь и злоба были то же самое животное чувство, только с разных концов. Жить так было бы ужасно, если бы мы понимали свое положение; но мы не понимали и не видали его. В этом и спасенье и казнь человека, что, когда он живет неправиль-

но, он может себя затуманивать, чтобы не видать бедственности своего положения. Так делали и мы. Она старалась забыться напряженными, всегда поспешными занятиями хозяйством, обстановкой, нарядами своими и детей, учением, здоровьем детей. У меня же было свое пьянство — пьянство службы, охоты, карт. Мы оба постоянно были заняты. Мы оба чувствовали, что чем больше мы заняты, тем злее мы можем быть друг к другу. «Тебе хорошо гримасничать, — думал я на нее, — а ты вот меня промучала сценами всю ночь, а мне заседанье». — «Тебе хорошо, — не только думала, но и говорила она, — а я всю ночь не спала с ребенком».

Так мы и жили, в постоянном тумане не видя того положения, в котором мы находились. И если бы не случилось того, что случилось, и я так же бы прожил еще до старости, я так бы и думал, умирая, что я прожил хорошую жизнь, не особенно хорошую, но и не дурную, такую, как все; я бы не понимал той бездны несчастья и той гнусной лжи, в которой я барахтался.

А мы были два ненавидящих друг друга колодника, связанных одной цепью, отравляющие жизнь друг другу и старающиеся не видать этого. Я еще не знал тогда, что 0,99 супружества живут

в таком же аду, как и я жил, и что это не может быть иначе. Тогда я еще не знал этого ни про других, ни про себя.

Удивительно, какие совпадения и в правильной и даже неправильной жизни! Как раз когда родителям жизнь становится невыносимой друг от друга, необходимы делаются и городские условия для воспитывания детей. И вот является потребность переезда в город.

Он замолчал и раза два издал свои странные звуки, которые теперь уже совсем похожи были на сдержанные рыдания. Мы подходили к станции.

— Который час? — спросил он. Я взглянул, было два часа.

— Вы не устали? — спросил он.

— Нет, но вы устали.

— Меня душит. Позвольте, я пройдусь, выпью воды.

И он, шатаясь, пошел через вагон. Я сидел один, перебирая все, что он сказал мне, и так задумался, что и не заметил, как он вернулся из другой двери.

XVIII

— Да, я все увлекаюсь, — начал он. — Много я передумал, на многое я смотрю по-иному, и все это хочется сказать. Ну, и стали жить в городе. В городе несчастным людям жить лучше. В городе человек может прожить сто лет и не хватиться того, что он давно умер и сгнил. Разбираться с самим собой некогда, все занято. Дела, общественные отношения, здоровье, искусства, здоровье детей, их воспитанье. То надо принимать тех и этих, ехать к тем и этим; то надо посмотреть эту, послушать этого или эту. Ведь в городе во всякий данный момент есть одна, а то сразу две, три знаменитости, которые нельзя никак пропустить. То надо лечить себя, того или этого, то учителя, репетиторы, гувернантки, а жизнь пустым-пустешенька. Ну, так мы и жили и меньше чувствовали боль от сожития. Кроме того, первое время было чудесное занятие — устройство в новом городе, на новой квартире, и еще занятие — переездов из города в деревню и из деревни в город.

Прожили одну зиму, и в другую зиму случилось еще следующее никому не заметное, кажущееся

ничтожным обстоятельство, но такое, которое и произвело все то, что произошло. Она была нездорова, и мерзавцы не велели ей рожать и научили средству. Мне это было отвратительно. Я боролся против этого, но она с легкомысленным упорством настояла на своем, и я покорился; последнее оправдание свиной жизни — дети — было отнято, и жизнь стала еще гаже.

Мужику, работнику, дети нужны, хотя и трудно ему выкормить, но они ему нужны, и потому его супружеские отношения имеют оправдание. Нам же, людям, имеющим детей, еще дети не нужны, они — лишняя забота, расход, сонаследники, они тягость. И оправдания свиной жизни для нас уже нет никакого. Или мы искусственно избавляемся от детей, или смотрим на детей как на несчастье, последствие неосторожности, что еще гаже. Оправданий нет. Но мы так нравственно пали, что мы даже не видим надобности в оправдании. Большинство теперешнего образованного мира предается этому разврату без малейшего угрызения совести.

Нечему угрызать, потому что совести в нашем быту нет никакой, кроме, если можно так назвать, совести общественного мнения и уголовного закона. А тут и та и другая не нарушаются:

совеститься перед обществом нечего, все это делают: и Марья Павловна и Иван Захарыч. А то что ж разводить нищих или лишать себя возможности общественной жизни? Совеститься перед уголовным законом или бояться его тоже нечего. Это безобразные девки и солдатки бросают детей в пруды и колодцы; тех, понятно, надо сажать в тюрьму, а у нас все делается своевременно и чисто.

Так прожили мы еще два года. Средство мерзавцев, очевидно, начинало действовать; она физически раздобрела и похорошела, как последняя красота лета. Она чувствовала это и занималась собой. В ней сделалась какая-то вызывающая красота, беспокоящая людей. Она была во всей силе тридцатилетней нерожающей, раскормленной и раздраженной женщины. Вид ее наводил беспокойство. Когда она проходила между мужчинами, она притягивала к себе их взгляды. Она была как застоявшаяся, раскормленная запряженная лошадь, с которой сняли узду. Узды не было никакой, как нет никакой у 0,99 наших женщин. И я чувствовал это, и мне было страшно.

XIX

Он вдруг приподнялся и пересел к самому окну.

— Извините меня, — проговорил он и, устремив глаза в окно, молча просидел так минуты три. Потом он тяжело вздохнул и опять сел против меня. Лицо его стало совсем другое, глаза жалкие, и какая-то странная почти улыбка морщила его губы. — Я устал немножко, но я расскажу. Еще времени много, не рассветало еще. Да-с, — начал он опять, закурив папиросу. — Она пополнела с тех пор, как перестала рожать, и болезнь эта — страдание вечное о детях — стала проходить; не то что проходить, но она как будто очнулась от пьянства, опомнилась и увидала, что есть целый мир божий с его радостями, про который она забыла, но в котором она жить не умела, мир божий, которого она совсем не понимала. «Как бы не пропустить! Уйдет время, не воротишь!» Так мне представляется, что она думала или скорее чувствовала, да и нельзя ей было думать и чувствовать иначе: ее воспитали в том, что есть в мире только одно достойное внимания — любовь.

Она вышла замуж, получила кое-что из этой любви, но не только далеко не то, что обещалось, что ожидалось, но и много разочарований, страданий и тут же неожиданную муку — детей! Мука эта истомила ее. И вот благодаря услужливым докторам она узнала, что можно обойтись и без детей. Она обрадовалась, испытала это и ожила опять для одного того, что она знала, — для любви. Но любовь с огаженным и ревностью и всякой злостью мужем было уже не то. Ей стала представляться какая-то другая, чистенькая, новенькая любовь, по крайней мере, я так думал про нее. И вот она стала оглядываться, как будто ожидая чего-то. Я видел это и не мог не тревожиться. Сплошь да рядом стало случаться то, что она, как и всегда, разговаривая со мной через посредство других, то есть говоря с посторонними, но обращая речь ко мне, выражала смело, совсем не думая о том, что она час тому назад говорила противоположное, выражала полусерьезно, что материнская забота — это обман, что не стоит того — отдавать свою жизнь детям, когда есть молодость и можно наслаждаться жизнью. Она занималась детьми меньше, не с таким отчаянием, как прежде, но больше и больше занималась собой, своей наружностью, хотя она и скрывала это, и своими

удовольствиями, и даже усовершенствованием себя. Она опять с увлечением взялась за фортепиано, которое прежде было совершенно брошено. С этого все и началось.

Он опять повернулся к окну устало смотревшими глазами, но тотчас же опять, видимо сделав над собою усилие, продолжал:

— Да-с, явился этот человек. — Он замялся и раза два произвел носом свои особенные звуки.

Я видел, что ему мучительно было называть этого человека, вспоминать, говорить о нем. Но он сделал усилие и, как будто порвав то препятствие, которое мешало ему, решительно продолжал:

— Дрянной он был человечек, на мои глаза, на мою оценку. И не потому, какое он значение получил в моей жизни, а потому, что он действительно был такой. Впрочем, то, что он был плох, служило только доказательством того, как невменяема была она. Не он, так другой, это должно было быть. — Он опять замолчал. — Да-с, это был музыкант, скрипач; не профессиональный музыкант, а полупрофессиональный, полуобщественный человек.

Отец его — помещик, сосед моего отца. Он — отец — разорился, и дети — три было мальчика — все устроились; один только, меньшой этот,

отдан был к своей крестной матери в Париж. Там его отдали в консерваторию, потому что был талант к музыке, и он вышел оттуда скрипачом и играл в концертах. Человек он был… — Очевидно, желая сказать что-то дурное про него, он воздержался и быстро сказал: — Ну, уж там я не знаю, как он жил, знаю только, что в этот год он явился в Россию и явился ко мне.

Миндалевидные влажные глаза, красные улыбающиеся губы, нафиксатуаренные усики, прическа последняя, модная, лицо пошло-хорошенькое, то, что женщины называют недурен, сложения слабого, хотя и не уродливого, с особенно развитым задом, как у женщины, как у готтентотов, говорят. Они, говорят, тоже музыкальны. Лезущий в фамильярность насколько возможно, но чуткий и всегда готовый остановиться при малейшем отпоре, с соблюдением внешнего достоинства и с тем особенным парижским оттенком ботинок с пуговками и ярких цветов галстука и другого, что усвоивают себе иностранцы в Париже и что по своей особенности, новизне, всегда действует на женщин. В манерах деланная, внешняя веселость. Манера, знаете, про все говорить намеками и отрывками, как будто вы все это знаете, помните и можете

сами дополнить.

Вот он-то с своей музыкой был причиной всего. Ведь на суде было представлено дело так, что все случилось из ревности. Ничуть не бывало, то есть не то что ничуть не бывало, а то, да не то. На суде так и решено было, что я обманутый муж и что я убил, защищая свою поруганную честь (так ведь это называется по-ихнему). И от этого меня оправдали. Я на суде старался выяснить смысл дела, но они понимали так, что я хочу реабилитировать честь жены.

Отношения ее с этим музыкантом, какие бы они ни были, для меня это не имеет смысла, да и для нее тоже. Имеет же смысл то, что я вам рассказал, то есть мое свинство. Все произошло оттого, что между нами была та страшная пучина, о которой я вам говорил, то страшное напряжение взаимной ненависти друг к другу, при которой первого повода было достаточно для произведения кризиса. Ссоры между нами становились в последнее время чем-то страшным и были особенно поразительны, сменяясь тоже напряженной животной страстью.

Если бы явился не он, то другой бы явился. Если бы не предлог ревности, то другой. Я настаиваю на том, что все мужья, живущие так, как я жил,

должны или распутничать, или разойтись, или убить самих себя или своих жен, как я сделал. Если с кем этого не случилось, то это особенно редкое исключение. Я ведь, прежде чем кончить, как я кончил, был несколько раз на краю самоубийства, а она тоже отравлялась.

XX

— Да, это так было, и недолго перед тем.

Жили мы как будто в перемирье, и нет никаких причин нарушать его; вдруг начинается разговор о том, что такая-то собака на выставке получила медаль, говорю я. Она говорит: «Не медаль, а похвальный отзыв». Начинается спор. Начинается перепрыгиванье с одного предмета на другой, попреки: «Ну, да это давно известно, всегда так: ты сказал...» — «Нет, я не говорил». — «Стало быть, я лгу!..» Чувствуешь, что вот-вот начнется та страшная ссора, при которой хочется себя или ее убить. Знаешь, что сейчас начнется, и боишься этого, как огня, и потому хотел бы удержаться, но злоба охватывает все твое существо. Она в том же, еще худшем положении, нарочно перетолковывает всякое твое слово, придавая ему ложное значение; каждое же ее слово пропитано ядом; где только она знает, что мне больнее всего, туда-то она и колет. Дальше — больше. Я кричу: «Молчи!» — или что-то в этом роде. Она выскакивает из комнаты, бежит в детскую. Я стараюсь удержать ее, чтобы договорить и дока-

зать, и схватываю ее за руку. Она прикидывается, что сделал ей больно, и кричит: «Дети, ваш отец бьет меня!» Я кричу: «Не лги!» — «Ведь это уж не в первый раз!» — кричит она, или что-нибудь подобное. Дети бросаются к ней. Она успокаивает их. Я говорю: «Не притворяйся!» Она говорит: «Для тебя все притворство; ты убьешь человека и будешь говорить, что он притворяется. Теперь я поняла тебя. Ты этого-то и хочешь!» — «О, хоть бы ты издохла!» — кричу я. Помню я, как ужаснули меня эти страшные слова. Я никак не ожидал, чтобы я мог сказать такие страшные, грубые слова, и удивляюсь тому, что они могли выскочить из меня. Я кричу эти страшные слова и убегаю в кабинет, сажусь и курю. Слышу, что она выходит в переднюю и собирается уезжать. Я спрашиваю куда. Она не отвечает. «Ну, и черт с ней», — говорю я себе, возвращаюсь в кабинет, опять ложусь и курю. Тысячи разных планов о том, как отомстить ей и избавиться от нее и как поправить все это и сделать так, как будто бы ничего не было, приходят мне в голову. Я все это думаю и курю, курю, курю. Думаю убежать от нее, скрыться, уехать в Америку. Дохожу до того, что мечтаю о том, как я избавлюсь от нее и как это будет прекрасно, как сойдусь с другой, прекрасной

женщиной, совсем новой. Избавлюсь тем, что она умрет, или тем, что разведусь, и придумываю, как это сделать. Вижу, что я путаюсь, что я не то думаю, что нужно, но и для того, чтобы не видеть, что я не то думаю, что нужно, для этого-то курю.

А жизнь дома идет. Приходит гувернантка, спрашивает: «Где madame? когда вернется?» Лакей спрашивает, подавать ли чай. Прихожу в столовую; дети, в особенности старшая Лиза, которая уж понимает, вопросительно и недоброжелательно смотрит на меня. Пьем молча чай. Ее все нет. Проходит весь вечер, ее нет, и два чувства сменяются в душе: злоба к ней за то, что она мучает меня и всех детей своим отсутствием, которое кончится же тем, что она приедет, и страх того, что она не приедет и что-нибудь сделает над собой. Я бы поехал за ней. Но где искать ее? У сестры? Но это глупо приехать спрашивать. Да и бог с ней; если она хочет мучать, пускай сама мучается. А то ведь она этого и ждет. И в следующий раз будет еще хуже. А что, как она не у сестры, а что-нибудь делает или уже сделала над собой?.. Одиннадцать, двенадцать, час, иду в спальню, глупо одному там лежать и ждать, и тут же ложусь. Хочу чем-нибудь заняться, написать письма, читать; ничего не могу. Сижу один

в кабинете, мучаюсь, злюсь и прислушиваюсь. Три, четыре часа — ее все нет. К утру засыпаю. Просыпаюсь — ее нет.

Все в доме идет по-старому, но все в недоумении и все вопросительно и укоризненно смотрят на меня, предполагая, что все это от меня. А во мне все та же борьба — злобы за то, что она меня мучает, и беспокойства за нее.

Около одиннадцати приезжает ее сестра послом от нее. И начинается обычное: «Она в ужасном положении. Ну что же это!» — «Да ведь ничего не случилось». Я говорю про невозможность ее характера и говорю, что я ничего не сделал.

— Да ведь не может же это так оставаться, — говорит сестра.

— Все ее дело, а не мое, — говорю я. — Я первого шага не сделаю. Разойтись так разойтись.

Свояченица уезжает ни с чем. Я смело сказал, говоря с ней, что не сделаю первого шага, но как она уехала и я вышел и увидел детей жалких, испуганных, я уже готов делать первый шаг. И рад бы его сделать, но не знаю как. Опять хожу, курю, выпиваю за завтраком водки и вина и достигаю того, чего бессознательно желаю: не вижу глупости, подлости своего положения.

Около трех приезжает она. Встречая меня, она

ничего не говорит. Я воображаю, что она смирилась, начинаю говорить о том, что я был вызван ее укоризнами. Она с тем же строгим и страшно измученным лицом говорит, что она приехала не объясняться, а взять детей, что жить вместе мы не можем. Я начинаю говорить, что виноват не я, что она вывела меня из себя. Она строго, торжественно смотрит на меня и потом говорит:

— Не говори больше, ты раскаешься.

Я говорю, что терпеть не могу комедий. Тогда она вскрикивает что-то, чего я не разбираю, и убегает в свою комнату. И за ней звенит ключ: она заперлась. Я толкаюсь, нет ответа, и я с злостью отхожу. Через полчаса Лиза прибегает в слезах.

— Что? что-нибудь сделалось?

— Мамы не слышно.

Идем. Я дергаю изо всех сил дверь. Задвижка плохо задвинута, и обе половинки отворяются. Я подхожу к кровати. Она в юбках и высоких ботинках лежит неловко на кровати без чувств. На столике пустая склянка с опиумом. Приводим в чувство. Еще слезы и, наконец, примирение. И не примирение: в душе у каждого та же старая злоба друг против друга с прибавкой еще раздражения за ту боль, которая сделана этой ссорой и которую всю каждый ставит на счет другого. Но надо

же как-нибудь кончить все это, и жизнь идет по-старому. Так, такие-то ссоры и хуже бывали беспрестанно, то раз в неделю, то раз в месяц, то каждый день. И все одно и то же. Один раз я уже взял заграничный паспорт — ссора продолжалась два дня, — но потом опять полуобъяснение, полупримирение — и я остался.

XXI

— Так вот в таких-то мы были отношениях, когда явился этот человек. Приехал в Москву этот человек — фамилия его Трухачевский — и явился ко мне. Это было утром. Я принял его. Были мы когда-то на «ты». Он попытался серединными фразами между «ты» и «вы» удержаться на «ты», но я прямо дал тон на «вы», и он тотчас же подчинился. Он мне очень не понравился с первого взгляда. Но, странное дело, какая-то странная, роковая сила влекла меня к тому, чтобы не оттолкнуть его, не удалить, а, напротив, приблизить. Ведь что могло быть проще того, чтобы поговорить с ним холодно, проститься, не знакомя с женою. Но нет, я, как нарочно, заговорил об его игре, сказал, что мне говорили, что он бросил скрипку. Он сказал, что, напротив, он играет теперь больше прежнего. Он стал вспоминать о том, что я играл прежде. Я сказал, что не играю больше, но что жена моя хорошо играет.

Удивительное дело! Мои отношения к нему в первый день, в первый час моего свиданья с ним были такие, какие они могли быть только после

того, что случилось. Что-то было напряженное в моих отношениях с ним: я замечал всякое слово, выражение, сказанное им или мною, и приписывал им важность.

Я представил его жене. Тотчас же зашел разговор о музыке, и он предложил свои услуги играть с ней. Жена, как и всегда это последнее время, была очень элегантна и заманчива, беспокояще красива. Он, видимо, понравился ей с первого взгляда. Кроме того, она обрадовалась тому, что будет иметь удовольствие играть со скрипкой, что она очень любила, так что нанимала для этого скрипача из театра, и на лице ее выразилась эта радость. Но, увидав меня, она тотчас же поняла мое чувство и изменила свое выражение, и началась эта игра взаимного обманыванья. Я приятно улыбался, делая вид, что мне очень приятно. Он, глядя на жену так, как смотрят все блудники на красивых женщин, делал вид, что его интересует только предмет разговора, именно то, что уже совсем не интересовало его. Она старалась казаться равнодушной, но знакомое ей мое фальшиво-улыбающееся выражение ревнивца и его похотливый взгляд, очевидно, возбуждали ее. Я видел, что с первого же свиданья у ней особенно заблестели глаза, и, вероятно вследствие моей

ревности, между ним и ею тотчас же установился как бы электрический ток, вызывающий одинаковость выражений, взглядов и улыбок. Она краснела — и он краснел, она улыбалась — он улыбался. Поговорили о музыке, о Париже, о всяких пустяках. Он встал, чтобы уезжать, и, улыбаясь, со шляпой на подрагивающей ляжке стоял, глядя то на нее, то на меня, как бы ожидая, что мы сделаем. Помню я эту минуту именно потому, что в эту минуту я мог не позвать его, и тогда ничего бы не было. Но я взглянул на него, на нее. «И не думай, чтоб я ревновал тебя, — мысленно сказал я ей, — или чтоб я боялся тебя», — мысленно сказал я ему и пригласил его привозить как-нибудь вечером скрипку, чтобы играть с женой. Она с удивлением взглянула на меня, вспыхнула и, как будто испугавшись, стала отказываться, говорила, что она недостаточно хорошо играет. Этот отказ ее еще более раздражил меня, и я еще больше настаивал. Помню то странное чувство, с которым я смотрел на его затылок, белую шею, отделявшуюся от черных, расчесанных на обе стороны волос, когда он своей подпрыгивающей, какой-то птичьей походкой выходил от нас. Я не мог не признаться себе, что присутствие этого человека мучало меня. «От меня зависит, — ду-

мал я, — сделать так, чтобы никогда не видать его». Но сделать так — значило признаться, что я боюсь его. Нет, я не боюсь его! Это было бы слишком унизительно, говорил я себе. И тут же, в передней, зная, что жена слышит меня, я настоял на том, чтобы он нынче же вечером приехал со скрипкой. Он обещал мне и уехал.

Вечером он приехал со скрипкой, и они играли. Но игра долго не ладилась, не было тех нот, которые им были нужны, а которые были, жена не могла играть без приготовлений. Я очень любил музыку и сочувствовал их игре, устраивал ему пюпитр, переворачивал страницы. И кое-что они сыграли, какие-то песни без слов и сонатку Моцарта. Он играл превосходно, и у него было в высшей степени то, что называется тоном. Кроме того, тонкий, благородный вкус, совсем несвойственный его характеру.

Он был, разумеется, гораздо сильнее жены и помогал ей и вместе с тем учтиво хвалил ее игру. Он держал себя очень хорошо. Жена казалась заинтересованной только одной музыкой и была очень проста и естественна. Я же хотя и притворялся заинтересованным музыкой, весь вечер не переставая мучался ревностью.

С первой минуты, как он встретился глазами

с женой, я видел, что зверь, сидящий в них обоих, помимо всех условий положения и света, спросил: «Можно?» — и ответил: «О да, очень». Я видел, что он никак не ожидал встретить в моей жене, в московской даме, такую привлекательную женщину, и был очень рад этому. Потому что сомнения в том, что она согласна, у него не было никакого. Весь вопрос был в том, чтобы только не помешал несносный муж. Если бы я был чист, я бы не понимал этого, но я, так же как и большинство, думал так про женщин, пока я не был женат, и потому читал в его душе как по писаному. Мучался я особенно тем, что я видел несомненно, что ко мне у ней не было другого чувства, кроме постоянного раздражения, только изредка прерываемого привычной чувственностью, а что этот человек, и по своей внешней элегантности и новизне, и, главное, по несомненному большому таланту к музыке, по сближению, возникающему от совместной игры, по влиянию, производимому на впечатлительные натуры музыкой, особенно скрипкой, что этот человек должен был не то что нравиться, а несомненно без малейшего колебания должен был победить, смять, перекрутить ее, свить из нее веревку, сделать из нее все, что захочет. Я этого не мог не видеть, и я страдал ужасно.

Но, несмотря на то или, может быть, вследствие этого, какая-то сила против моей воли заставляла меня быть особенно не только учтивым, но ласковым с ним. Для жены ли или для него я это делал, чтоб показать, что я не боюсь его, для себя ли, чтоб обмануть самого себя, — не знаю, только я не мог с первых же сношений моих с ним быть прост. Я должен был, для того чтобы не отдаться желанию сейчас же убить его, ласкать его. Я поил его за ужином дорогим вином, восхищался его игрой, с особенной ласковой улыбкой говорил с ним и позвал его в следующее воскресенье обедать и еще играть с женою. Я сказал, что позову кое-кого из моих знакомых, любителей музыки, послушать его. Да так и кончилось.

И Позднышев в сильном волнении переменил положение и издал свой особенный звук.

— Странное дело, как действовало на меня присутствие этого человека, — начал он опять, очевидно делая усилие, для того чтобы быть спокойным. — Возвращаюсь с выставки домой на второй или на третий день после этого, вхожу в переднюю и вдруг чувствую, что-то тяжелое, как камень, наваливается мне на сердце, и не могу дать себе отчета, что это. Это что-то было то, что, проходя через переднюю, я заметил что-то

напоминавшее его. Только в кабинете я дал себе отчет в том, что это было, и вернулся в переднюю, чтобы проверить себя. Да, я не ошибся: это была его шинель. Знаете, модная шинель. (Все, что его касалось, хотя я и не отдавал себе в том отчета, я замечал с необыкновенной внимательностью.) Спрашиваю, — так и есть, он тут. Прохожу не через гостиную, а через классную, в залу. Лиза, дочь, сидит за книжкой, и няня с маленькой у стола вертит какой-то крышкой. Дверь в залу затворена, и слышу оттуда равномерное arpeggio и голос его и ее. Прислушиваюсь, но не могу разобрать. Очевидно, звуки на фортепиано нарочно для того, чтобы заглушить их слова, поцелуи, может быть. Боже мой! что тут поднялось во мне! Как вспомню только про того зверя, который жил во мне тогда, ужас берет. Сердце вдруг сжалось, остановилось и потом заколотило, как молотком. Главное чувство, как и всегда, во всякой злости, было — жалость к себе. «При детях, при няне!» — думал я. Должно быть, я был страшен, потому что и Лиза смотрела на меня странными глазами. «Что ж мне делать? — спросил я себя. — Войти? Я не могу, я бог знает что сделаю». Но не могу и уйти. Няня глядит на меня так, как будто она понимает мое положение. «Да нельзя не войти», — сказал

я себе и быстро отворил дверь. Он сидел за фортепиано, делал эти arpeggio своими изогнутыми кверху большими белыми пальцами. Она стояла в углу рояля над раскрытыми нотами. Она первая увидала или услыхала и взглянула на меня. Испугалась ли она и притворилась, что не испугалась, или точно не испугалась, но она не вздрогнула, не пошевелилась, а только покраснела, и то после.

— Как я рада, что ты пришел; мы не решили, что играть в воскресенье, — сказала она таким тоном, которым не говорила бы со мной, если бы мы были одни. Это и то, что она сказала «мы» про себя и его, возмутило меня. Я молча поздоровался с ним.

Он пожал мне руку и тотчас же с улыбкой, которая мне прямо казалась насмешливой, начал объяснять мне, что он принес ноты для приготовления к воскресенью и что вот между ними несогласие, что играть: более трудное и классическое, именно Бетховенскую сонату со скрипкой, или маленькие вещицы? Все было так естественно и просто, что нельзя было ни к чему придраться, а вместе с тем я был уверен, что все это было неправда, что они сговаривались о том, как обмануть меня.

Одно из самых мучительнейших отношений

для ревнивцев (а ревнивцы все в нашей общественной жизни) — это известные светские условия, при которых допускается самая большая и опасная близость между мужчиной и женщиной. Надо сделаться посмешищем людей, если препятствовать близости на балах, близости докторов с своей пациенткой, близости при занятиях искусством, живописью, а главное — музыкой. Люди занимаются вдвоем самым благородным искусством, музыкой; для этого нужна известная близость, и близость эта не имеет ничего предосудительного, и только глупый, ревнивый муж может видеть тут что-либо нежелательное. А между тем все знают, что именно посредством этих самых занятий, в особенности музыкой, и происходит большая доля прелюбодеяний в нашем обществе. Я, очевидно, смутил их тем смущением, которое выражалось во мне: я долго ничего не мог сказать. Я был как перевернутая бутылка, из которой вода не идет оттого, что она слишком полна. Я хотел изругать, выгнать его, но я чувствовал, что я должен был опять быть любезным и ласковым с ним. Я так и сделал. Я сделал вид, что одобряю все, и опять по тому странному чувству, которое заставляло меня обращаться с ним с тем большей лаской, чем

мучительнее мне было его присутствие, я сказал ему, что полагаюсь на его вкус и ей советую то же. Он побыл настолько еще, насколько нужно было, чтобы сгладить неприятное впечатление, когда я вдруг с испуганным лицом вошел в комнату и замолчал, — и уехал, притворяясь, что теперь решили, что играть завтра. Я же был вполне уверен, что в сравнении с тем, что занимало их, вопрос о том, что играть, был для них совершенно безразличен.

Я с особенной учтивостью проводил его до передней (как не провожать человека, который приехал, с тем чтобы нарушить спокойствие и погубить счастье целой семьи!). Я жал с особенной лаской его белую, мягкую руку.

XXII

— Целый день этот я не говорил с ней, не мог. Близость ее вызывала во мне такую ненависть к ней, что я боялся себя. За обедом она при детях спросила меня о том, когда я еду. Мне надо было на следующей неделе ехать на съезд в уезд. Я сказал когда. Она спросила, не нужно ли мне чего на дорогу. Я не сказал ничего и молча просидел за столом и молча же ушел в кабинет. Последнее время она никогда не приходила ко мне в комнату, особенно в это время. Лежу в кабинете и злюсь. Вдруг знакомая походка. И в голову мне приходит страшная, безобразная мысль о том, что она, как жена Урии, хочет скрыть уже совершенный грех свой и что она затем в такой неурочный час идет ко мне. «Неужели она идет ко мне?» — думал я, слушая ее приближающиеся шаги. Если ко мне, то я прав, значит. И в душе поднимается невыразимая ненависть к ней. Ближе, ближе шаги. Неужели не пройдет мимо, в залу? Нет, дверь скрипнула, и в дверях ее высокая, красивая фигура, и в лице, в глазах — робость и заискивание, которое она хочет скрыть, но которое я вижу и

значение которого я знаю. Я чуть не задохнулся, так долго я удерживал дыханье, и, продолжая глядеть на нее, схватился за папиросочницу и стал закуривать.

— Ну что это, к тебе придешь посидеть, а ты закуриваешь, — и она села близко ко мне на диван, прислоняясь ко мне.

Я отстранился, чтоб не касаться ее.

— Я вижу, что ты недоволен тем, что я хочу играть в воскресенье, — сказала она.

— Я нисколько не недоволен, — сказал я.

— Разве я не вижу?

— Ну, поздравляю тебя, что ты видишь. Я же ничего не вижу, кроме того, что ты ведешь себя, как кокотка…

— Да если ты хочешь браниться, как извозчик, то я уйду.

— Уходи, только знай, что если тебе не дорога честь семьи, то мне не ты дорога (черт с тобой), но честь семьи.

— Да что, что?

— Убирайся, ради бога убирайся!

Притворялась она, что не понимает, о чем, или действительно не понимала, но только она обиделась и рассердилась. Она встала, но не ушла, а остановилась посередине комнаты.

— Ты решительно стал невозможен, — начала она. — Это такой характер, с которым ангел не уживется, — и, как всегда, стараясь уязвить меня как можно больнее, она напомнила мне мой поступок с сестрой (это был случай с сестрой, когда я вышел из себя и наговорил сестре своей грубости; она знала, что это мучит меня, и в это место кольнула меня). — После этого меня уж ничто не удивит от тебя, — сказала она.

«Да, оскорбить, унизить, опозорить и поставить меня же в виноватых», — сказал я себе, и вдруг меня охватила такая страшная злоба к ней, какой я никогда еще не испытывал.

Мне в первый раз захотелось физически выразить эту злобу. Я вскочил и двинулся к ней; но в ту же минуту, как я вскочил, я помню, что я сознал свою злобу и спросил себя, хорошо ли отдаться этому чувству, и тотчас же ответил себе, что это хорошо, что это испугает ее, и тотчас же, вместо того чтобы противиться этой злобе, я еще стал разжигать ее в себе и радоваться тому, что она больше и больше разгорается во мне.

— Убирайся, или я тебя убью! — закричал я, подойдя к ней и схватив ее за руку. Я сознательно усиливал интонации злости своего голоса, говоря это. И, должно быть, я был страшен, потому что

она так заробела, что даже не имела силы уйти, а только говорила:

— Вася, что ты, что с тобой?

— Уходи! — заревел я еще громче. — Только ты можешь довести меня до бешенства. Я не отвечаю за себя!

Дав ход своему бешенству, я упивался им, и мне хотелось еще что-нибудь сделать необыкновенное, показывающее высшую степень этого моего бешенства. Мне страшно хотелось бить, убить ее, но я знал, что этого нельзя, и потому, чтобы все-таки дать ход своему бешенству, схватил со стола пресс-папье, еще раз прокричав: «Уходи!» — швырнул его оземь мимо нее. Я очень хорошо целил мимо. Тогда она пошла из комнаты, но остановилась в дверях. И тут же, пока еще она видела (я сделал это для того, чтобы она видела), я стал брать со стола вещи, подсвечники, чернильницу, и бросать оземь их, продолжая кричать:

— Уйди! убирайся! Я не отвечаю за себя!

Она ушла — и я тотчас же перестал.

Через час ко мне пришла няня и сказала, что у жены истерика. Я пришел; она рыдала, смеялась, ничего не могла говорить и вздрагивала всем телом. Она не притворялась, но была истинно больна.

К утру она успокоилась, и мы помирились под влиянием того чувства, которое мы называли любовью.

Утром, когда после примирения я признался ей, что ревновал ее к Трухачевскому, она нисколько не смутилась и самым естественным образом засмеялась. Так странна даже ей казалась, как она говорила, возможность увлечения к такому человеку.

— Разве к такому человеку возможно в порядочной женщине что-нибудь, кроме удовольствия, доставляемого музыкой? Да если хочешь, я готова никогда не видать его. Даже в воскресенье, хотя и позваны все. Напиши ему, что я нездорова, и кончено. Одно противно, что кто-нибудь может подумать, главное он сам, что он опасен. А я слишком горда, чтобы позволить думать это.

И она ведь не лгала, она верила в то, что говорила; она надеялась словами этими вызвать в себе презрение к нему и защитить им себя от него, но ей не удалось это. Все было направлено против нее, в особенности эта проклятая музыка. Так все и кончилось, и в воскресенье собрались гости, и они опять играли.

XXIII

— Я думаю, что излишне говорить, что я был очень тщеславен: если не быть тщеславным в обычной нашей жизни, то ведь нечем жить. Ну, и в воскресенье я со вкусом занялся устройством обеда и вечера с музыкой. Я сам накупил вещей для обеда и позвал гостей.

К шести часам собрались гости, и явился и он во фраке с бриллиантовыми запонками дурного тона. Он держал себя развязно, на все отвечал поспешно с улыбочкой согласия и понимания, знаете, с тем особенным выражением, что все, что вы сделаете или скажете, есть то самое, чего он ожидал. Все, что было в нем непорядочного, все это я замечал теперь с особенным удовольствием, потому что это все должно было успокоить меня и показывать, что он стоял для моей жены на такой низкой ступени, до которой, как она и говорила, она не могла унизиться. Я теперь уже не позволял себе ревновать. Во-первых, я перемучался уже этой мукой, и мне надо было отдохнуть; во-вторых, я хотел верить уверениям жены и верил им. Но, несмотря на то что я не

ревновал, я все-таки был ненатурален с ним и с нею и во время обеда и первую половину вечера, пока не началась музыка. Я все еще следил за движениями и взглядами их обоих.

Обед был как обед, скучный, притворный. Довольно рано началась музыка. Ах, как я помню все подробности этого вечера; помню, как он принес скрипку, отпер ящик, снял вышитую ему дамой покрышку, достал и стал строить. Помню, как жена села с притворно равнодушным видом, под которым я видел, что она скрывала большую робость — робость преимущественно перед своим умением, — с притворным видом села за рояль, и начались обычные la на фортепиано, пиччикато скрипки, установка нот. Помню потом, как они взглянули друг на друга, оглянулись на усаживавшихся и потом сказали что-то друг другу, и началось. Он взял первый аккорд. У него сделалось серьезное, строгое, симпатичное лицо, и, прислушиваясь к своим звукам, он осторожными пальцами дернул по струнам, и рояль ответил ему. И началось…

Он остановился и несколько раз сряду произвел свои звуки. Хотел начать говорить, но засопел носом и опять остановился.

— Они играли Крейцерову сонату Бетховена.

Знаете ли вы первое престо? Знаете?! — вскрикнул он. — У!.. Страшная вещь эта соната. Именно эта часть. И вообще страшная вещь музыка. Что это такое? Я не понимаю. Что такое музыка? Что она делает? И зачем она делает то, что она делает? Говорят, музыка действует возвышающим душу образом, — вздор, неправда! Она действует, страшно действует, я говорю про себя, но вовсе не возвышающим душу образом, а раздражающим душу образом. Как вам сказать? Музыка заставляет меня забывать себя, мое истинное положение, она переносит меня в какое-то другое, не свое положение: мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, чего я, собственно, не чувствую, что я понимаю то, чего не понимаю, что могу то, чего не могу. Я объясняю это тем, что музыка действует, как зевота, как смех: мне спать не хочется, но я зеваю, глядя на зевающего, смеяться не о чем, но я смеюсь, слыша смеющегося.

Она, музыка, сразу, непосредственно переносит меня в то душевное состояние, в котором находился тот, кто писал музыку. Я сливаюсь с ним душою и вместе с ним переношусь из одного состояния в другое, но зачем я это делаю, я не знаю. Ведь тот, кто писал хоть бы Крейцерову сонату, — Бетховен, ведь он знал, почему он

находился в таком состоянии, — это состояние привело его к известным поступкам, и потому для него это состояние имело смысл, для меня же никакого. И потому музыка только раздражает, не кончает. Ну, марш воинственный сыграют, солдаты пройдут под марш, и музыка дошла; сыграли плясовую, я проплясал, музыка дошла; ну, пропели мессу, я причастился, тоже музыка дошла, а то только раздражение, а того, что надо делать в этом раздражении, нет. И оттого музыка так страшно, так ужасно иногда действует. В Китае музыка государственное дело. И это так и должно быть. Разве можно допустить, чтобы всякий, кто хочет, гипнотизировал бы один другого или многих и потом бы делал с ними что хочет. И главное, чтобы этим гипнотизером был первый попавшийся безнравственный человек.

А то страшное средство в руках кого попало. Например, хоть бы эту Крейцерову сонату, первое престо. Разве можно играть в гостиной среди декольтированных дам это престо? Сыграть и потом похлопать, а потом есть мороженое и говорить о последней сплетне. Эти вещи можно играть только при известных, важных, значительных обстоятельствах, и тогда, когда требуется совершить известные, соответствующие этой музыке

важные поступки. Сыграть и сделать то, на что настроила эта музыка. А то несоответственное ни месту, ни времени вызывание энергии, чувства, ничем не проявляющегося, не может не действовать губительно. На меня, по крайней мере, вещь эта подействовала ужасно; мне как будто открылись совсем новые, казалось мне, чувства, новые возможности, о которых я не знал до сих пор. Да вот как, совсем не так, как я прежде думал и жил, а вот как, как будто говорилось мне в душе. Что такое было то новое, что я узнал, я не мог себе дать отчета, но сознание этого нового состояния было очень радостно. Все те же лица, и в том числе и жена и он, представлялись совсем в другом свете.

После этого просто они доиграли прекрасное, но обыкновенное, не новое andante с пошлыми варьяциями и совсем слабый финал. Потом еще играли по просьбе гостей то «Элегию» Эрнста, то еще разные вещицы. Все это было хорошо, но все это не произвело на меня и 0,01 того впечатления, которое произвело первое. Все это происходило уже на фоне того впечатления, которое произвело первое. Мне было легко, весело весь вечер. Жену же я никогда не видал такою, какою она была в этот вечер. Эти блестящие глаза, эта строгость,

значительность выражения, пока она играла, и эта совершенная растаянность какая-то, слабая, жалкая и блаженная улыбка после того, как они кончили. Я все это видел, но не приписывал этому никакого другого значения, кроме того, что она испытывала то же, что и я, что и ей, как и мне, открылись, как будто вспомнились новые, неиспытанные чувства. Вечер кончился благополучно, и все разъехались.

Зная, что я должен был через два дня ехать на съезд, Трухачевский, прощаясь, сказал, что он надеется в свой другой приезд повторить еще удовольствие нынешнего вечера. Из этого я мог заключить, что он не считал возможным бывать у меня без меня, и это было мне приятно. Оказывалось, что так как я не вернусь до его отъезда, то мы с ним больше не увидимся.

Я в первый раз с истинным удовольствием пожал ему руку и благодарил его за удовольствие. Он также совсем простился с женой. И их прощанье показалось мне самым натуральным и приличным. Все было прекрасно. Мы оба с женой были очень довольны вечером.

XXIV

— Через два дня я уехал в уезд, в самом хорошем, спокойном настроении простившись с женой. В уезде всегда бывало пропасть дела и совсем особенная жизнь, особенный мирок. Два дня я по десяти часов проводил в присутствии. На другой день мне в присутствие принесли письмо от жены. Я тут же прочел его. Она писала о детях, о дяде, о нянюшке, о покупках и между прочим, как о вещи самой обыкновенной, о том, что Трухачевский заходил, принес обещанные ноты и обещал играть еще, но что она отказалась. Я не помнил, чтобы он обещал принести ноты: мне казалось, что он тогда простился совсем, и потому это неприятно поразило меня. Но дела было столько, что некогда было подумать, и я только вечером, вернувшись на квартиру, перечел письмо. Кроме того, что Трухачевский без меня был еще раз, весь тон письма показался мне натянутым. Бешеный зверь ревности зарычал в своей конуре и хотел выскочить, но я боялся этого зверя и запер его скорей. «Какое мерзкое чувство эта ревность! — сказал я себе. — Что может быть

естественнее того, что она пишет?»

И я лег в постель и стал думать о делах, предстоящих на завтра. Мне всегда долго не спалось во время этих съездов, на новом месте, но тут я заснул очень скоро. И как это бывает, знаете, вдруг толчок электрический, и просыпаешься. Так я проснулся, и проснулся с мыслью о ней, о моей плотской любви к ней, и о Трухачевском, и о том, что между нею и им все кончено. Ужас и злоба стиснули мне сердце. Но я стал образумливать себя. «Что за вздор, — говорил я себе, — нет никаких оснований, ничего нет и не было. И как я могу так унижать ее и себя, предполагая такие ужасы. Что-то вроде наемного скрипача, известный за дрянного человека, и вдруг женщина почтенная, уважаемая мать семейства, моя жена! Что за нелепость!» — представлялось мне с одной стороны. «Как же этому не быть?» — представлялось мне с другой. Как же могло не быть то самое простое и понятное, во имя чего я женился на ней, то самое, во имя чего я с нею жил, чего одного в ней нужно было и мне и чего поэтому нужно было и другим и этому музыканту. Он человек неженатый, здоровый (помню, как он хрустел хрящом в котлетке и обхватывал жадно красными губами стакан с вином), сытый,

гладкий, и не только без правил, но, очевидно, с правилами о том, чтобы пользоваться теми удовольствиями, которые представляются. И между ними связь музыки, самой утонченной похоти чувств. Что же может удержать его? Ничто. Все, напротив, привлекает его. Она? Да кто она? Она тайна, как была, так и есть. Я не знаю ее. Знаю ее только как животное. А животное ничто не может, не должно удержать.

Только теперь я вспомнил их лица в тот вечер, когда они после Крейцеровой сонаты сыграли какую-то страстную вещицу, не помню кого, какую-то до похабности чувственную пьесу. «Как я мог уехать? — говорил я себе, вспоминая их лица. — Разве не ясно было, что между ними все совершилось в этот вечер? и разве не видно было, что уже в этот вечер между ними не только не было никакой преграды, но что они оба, главное она, испытывали некоторый стыд после того, что случилось с ними?» Помню, как она слабо, жалобно и блаженно улыбалась, утирая пот с раскрасневшегося лица, когда я подошел к фортепиано. Они уже тогда избегали смотреть друг на друга, и только за ужином, когда он наливал ей воды, они взглянули друг на друга и чуть улыбнулись. Я с ужасом вспомнил теперь этот перехваченный

мною их взгляд с чуть заметной улыбкой. «Да, все кончено», — говорил мне один голос, и тотчас же другой голос говорил совсем другое. «Это что-то нашло на тебя, этого не может быть», — говорил этот другой голос. Мне жутко стало лежать в темноте, я зажег спичку, и мне как-то страшно стало в этой маленькой комнатке с желтыми обоями. Я закурил папироску и, как всегда бывает, когда вертишься в одном и том же кругу неразрешающихся противоречий, — куришь, и я курил одну папироску за другой, для того чтобы затуманить себя и не видать противоречий.

Я не заснул всю ночь, и в пять часов, решив, что не могу оставаться более в этом напряжении и сейчас же поеду, я встал, разбудил сторожа, который мне прислуживал, и послал его за лошадью. В заседание я послал записку о том, что я по экстренному делу вызван в Москву; потому прошу, чтобы меня заменил член. В восемь часов я сел в тарантас и поехал.

XXV

Вошел кондуктор и, заметив, что свеча наша догорела, потушил ее, не вставляя новой. На дворе начинало светать. Позднышев молчал, тяжело вздыхая все время, пока в вагоне был кондуктор. Он продолжал свой рассказ, только когда вышел кондуктор и в полутемном вагоне послышался только треск стекол двигающегося вагона и равномерный храп приказчика. В полусвете зари мне совсем уже не видно его было. Слышен был только его все более и более взволнованный, страдающий голос.

— Ехать надо было тридцать пять верст на лошадях и восемь часов по чугунке. На лошадях ехать было прекрасно. Была морозная осенняя пора с ярким солнцем. Знаете, эта пора, когда шипы выпечатываются на масленой дороге. Дороги гладкие, свет яркий и воздух бодрящий. В тарантасе ехать было хорошо. Когда рассвело и я поехал, мне стало легче. Глядя на лошадей, на поля, на встречных, забывал, куда я еду. Иногда мне казалось, что я просто еду и что ничего того, что вызвало меня, ничего этого не было. И мне

особенно радостно бывало так забываться. Когда же я вспоминал, куда я еду, я говорил себе: «Тогда видно будет, не думай». На середине дороги сверх того случилось событие, задержавшее меня в дороге и еще больше развлекшее меня: тарантас сломался, и надо было чинить его. Поломка эта имела большое значение тем, что она сделала то, что я приехал в Москву не в пять часов, как я рассчитывал, а в двенадцать часов и домой — в первом часу, так как я не попал на курьерский, а должен был уже ехать на пассажирском. Поездка за телегой, починка, расплата, чай на постоялом дворе, разговоры с дворником — все это еще больше развлекло меня. Сумерками все было готово, и я опять поехал, и ночью еще лучше было ехать, чем днем. Был молодой месяц, маленький мороз, еще прекрасная дорога, лошади, веселый ямщик, и я ехал и наслаждался, почти совсем не думая о том, что меня ожидает, или именно потому особенно наслаждался, что знал, что меня ожидает, и прощался с радостями жизни. Но это спокойное состояние мое, возможность подавлять свое чувство кончилось поездкой на лошадях. Как только я вошел в вагон, началось совсем другое. Этот восьмичасовой переезд в вагоне был для меня что-то ужасное, чего я не забуду во всю жизнь.

Оттого ли, что, сев в вагон, я живо представил себя уже приехавшим, или оттого, что железная дорога так возбуждающе действует на людей, но только, с тех пор как я сел в вагон, я уже не мог владеть своим воображением, и оно не переставая с необычайной яркостью начало рисовать мне разжигающие мою ревность картины, одну за другой и одну циничнее другой, и все о том же, о том, что происходило там, без меня, как она изменяла мне. Я сгорал от негодования, злости и какого-то особенного чувства упоения своим унижением, созерцая эти картины, и не мог оторваться от них; не мог не смотреть на них, не мог стереть их, не мог не вызывать их. Мало того, чем более я созерцал эти воображаемые картины, тем более я верил в их действительность. Яркость, с которой представлялись мне эти картины, как будто служила доказательством тому, что то, что я воображал, было действительностью. Какой-то дьявол, точно против моей воли, придумывал и подсказывал мне самые ужасные соображения. Давнишний разговор с братом Трухачевского вспомнился мне, и я с каким-то восторгом раздирал себе сердце этим разговором, относя его к Трухачевскому и моей жене.

Это было очень давно, но я вспомнил это. Брат

Трухачевского, я помню, раз на вопрос о том, посещает ли он публичные дома, сказал, что порядочный человек не станет ходить туда, где можно заболеть, да и грязно и гадко, когда всегда можно найти порядочную женщину. И вот он, его брат, нашел мою жену. «Правда, она уже не первой молодости, зуба одного нет сбоку и есть пухлость некоторая, — думал я за него, — но что же делать, надо пользоваться тем, что есть». — «Да, он делает снисхождение ей, что берет ее своей любовницей, — говорил я себе. — Притом она безопасна». — «Нет, это невозможно! Что я думаю! — ужасаясь, говорил я себе. — Ничего, ничего подобного нет. И нет даже никаких оснований что-нибудь предполагать подобное. Разве она не говорила мне, что ей унизительна даже мысль о том, что я могу ревновать к нему? Да, но она лжет, все лжет!» — вскрикивал я — и начиналось опять… Пассажиров в нашем вагоне было только двое — старушка с мужем, оба очень неразговорчивые, и те вышли на одной из станций, и я остался один. Я был как зверь в клетке: то я вскакивал, подходил к окнам, то, шатаясь, начинал ходить, стараясь подогнать вагон; но вагон со всеми лавками и стеклами все точно так же подрагивал, вот как наш…

И Позднышев вскочил и сделал несколько шагов и опять сел.

— Ох, боюсь я, боюсь я вагонов железной дороги, ужас находит на меня. Да, ужасно! — продолжал он. — Я говорил себе: «Буду думать о другом. Ну, положим, о хозяине постоялого двора, у которого я пил чай». Ну вот, в глазах воображения возникает дворник с длинной бородой и его внук — мальчик одних лет с моим Васей. Мой Вася! Он увидит, как музыкант целует его мать. Что сделается в его бедной душе? Да ей что! Она любит… И опять поднималось то же. Нет, нет… Ну, буду думать об осмотре больницы. Да, как вчера больной жаловался на доктора. А доктор с усами, как у Трухачевского. И как он нагло… Они оба обманывали меня, когда говорил, что он уезжает. И опять начиналось. Все, о чем я думал, имело связь с ним. Я страдал ужасно. Страдание главное было в неведении, в сомнениях, в раздвоении, в незнании того, что — любить или ненавидеть надо ее. Страдания были так сильны, что, я помню, мне пришла мысль, очень понравившаяся мне, выйти на путь, лечь на рельсы под вагон и кончить. Тогда, по крайней мере, не будешь больше колебаться, сомневаться. Одно, что мешало это сделать, была жалость к себе, тотчас же непо-

средственно за собой вызывавшая ненависть к ней. К нему же было какое-то странное чувство и ненависти и сознания своего унижения и его победы, но к ней страшная ненависть. «Нельзя покончить с собой и оставить ее; надо, чтоб она пострадала хоть сколько-нибудь, хоть поняла бы, что я страдал», — говорил я себе. Я выходил на всех станциях, чтобы развлекаться. На одной станции я в буфете увидал, что пьют, и тотчас же сам выпил водки. Рядом со мной стоял еврей и тоже пил. Он разговорился, и я, чтобы только не оставаться одному в своем вагоне, пошел с ним в его грязный, накуренный и забрызганный шелухой от семечек вагон третьего класса. Там я сел с ним рядом, и он много что-то болтал и рассказывал анекдоты. Я слушал его, но не мог понимать того, что он говорит, потому что продолжал думать о своем. Он заметил это и стал требовать к себе внимания; тогда я встал и ушел опять в свой вагон. «Надо обдумать, — говорил я себе, — правда ли то, что я думаю, и есть ли основание мне мучаться». Я сел, желая спокойно обдумать, но тотчас же вместо спокойного обдумыванья началось опять то же: вместо рассуждений — картины и представления. «Сколько раз я так мучался, — говорил я себе (я вспоминал

прежние подобные припадки ревности), — и потом все кончалось ничем. Так и теперь, может быть, даже наверное, я найду ее спокойно спящею; она проснется, обрадуется мне, и по словам, по взгляду я почувствую, что ничего не было и что все это вздор. О, как хорошо бы это!» — «Но нет, это слишком часто было, и теперь этого уже не будет», — говорил мне какой-то голос, и опять начиналось. Да, вот где была казнь! Не в сифилитическую больницу я сводил бы молодого человека, чтобы отбить у него охоту от женщин, но в душу к себе, посмотреть на тех дьяволов, которые раздирали ее! Ведь ужасно было то, что я признавал за собой несомненное, полное право над ее телом, как будто это было мое тело, и вместе с тем чувствовал, что владеть я этим телом не могу, что оно не мое и что она может распоряжаться им как хочет, а хочет распорядиться им не так, как я хочу. И я ничего не могу сделать ни ему, ни ей. Он, как Ванька-ключничек перед виселицей, споет песенку о том, как в сахарные уста было поцеловано и прочее. И верх его. А с ней еще меньше я могу что-нибудь сделать. Если она не сделала, но хочет, а я знаю, что хочет, то еще хуже: уж лучше бы сделала, чтоб я знал, чтоб не было неизвестности. Я не мог бы сказать, чего

я хотел. Я хотел, чтоб она не желала того, что она должна желать. Это было полное сумасшествие!

XXVI

— На предпоследней станции, когда кондуктор пришел собирать билеты, я, собрав свои вещи, вышел на тормоз, и сознание того, что близко, вот оно, решение, еще усилило мое волнение. Мне стало холодно, и я стал дрожать челюстями так, что стучал зубами. Я машинально с толпой вышел из вокзала, взял извозчика, сел и поехал. Я ехал, оглядывая редких прохожих, и дворников, и тени, бросаемые фонарями и моей пролеткой то спереди, то сзади, ни о чем не думая. Отъехав с полверсты, мне стало холодно ногам, и я подумал о том, что снял в вагоне шерстяные чулки и положил их в сумку. Где сумка? тут ли? Тут. А где корзина? Я вспомнил, что я забыл совсем о багаже, но, вспомнив и достав расписку, решил, что не стоит возвращаться за этим, и поехал дальше.

Сколько я ни стараюсь вспомнить теперь, я никак не могу вспомнить моего тогдашнего состояния: что я думал? чего хотел? ничего не знаю. Помню только, что у меня было сознание того, что готовится что-то страшное и очень важное в моей жизни. Оттого ли произошло то важное, что

я так думал, или оттого, что предчувствовал, — не знаю. Может быть и то, что после того, что случилось, все предшествующие минуты в моем воспоминании получили мрачный оттенок. Я подъехал к крыльцу. Был первый час. Несколько извозчиков стояло у крыльца, ожидая седоков по освещенным окнам (освещенные окна были в нашей квартире, в зале и гостиной). Не отдавая себе отчета в том, почему есть еще свет так поздно в наших окнах, я в том же состоянии ожидания чего-то страшного взошел на лестницу и позвонил. Лакей, добрый, старательный и очень глупый Егор, отворил. Первое, что бросилось в глаза, в передней была на вешалке рядом с другим платьем его шинель. Я бы должен был удивиться, но не удивился, точно я ждал этого. «Так и есть», — сказал я себе. Когда я спросил Егора, кто здесь, и он назвал мне Трухачевского, я спросил, есть ли еще кто-нибудь. Он сказал:

— Никого-с.

Помню, как он ответил мне это с такой интонацией, как будто желал порадовать меня и рассеять сомнения, что есть еще кто. «Никого-с. Так, так», — как будто говорил я себе.

— А дети?

— Слава богу, здоровы. Давно спят-с.

Я не мог продохнуть и не мог остановить трясущихся челюстей. «Да, стало быть, не так, как я думал: то прежде я думал — несчастье, а оказалось все хорошо, по-старому. Теперь же вот не по-старому, а вот оно все то, что я представлял себе и думал, что только представлял, а вот оно все в действительности. Вот оно все…»

Я чуть было не зарыдал, но тотчас же дьявол подсказал: «Ты плачь, сентиментальничай, а они спокойно разойдутся, улик не будет, и ты век будешь сомневаться и мучаться». И тотчас чувствительность над собой исчезла, и явилось странное чувство — вы не поверите — чувство радости, что кончится теперь мое мученье, что теперь я могу наказать ее, могу избавиться от нее, что я могу дать волю моей злобе. И я дал волю моей злобе — я сделался зверем, злым и хитрым зверем.

— Не надо, не надо, — сказал я Егору, хотевшему идти в гостиную, — а ты вот что: ты поди, скорее возьми извозчика и поезжай; вот квитанция, получи вещи. Ступай.

Он пошел по коридору за своим пальто. Боясь, что он спугнет их, я проводил его до его каморки и подождал, пока он оделся. В гостиной, за другой комнатой, слышен был говор и звук ножей и

тарелок. Они ели и не слыхали звонка. «Только бы не вышли теперь», — думал я. Егор надел свое пальто с астраханским барашком и вышел. Я выпустил его и запер за ним дверь, и мне стало жутко, когда я почувствовал, что остался один и что мне надо сейчас действовать. Как — я еще не знал. Я знал только, что теперь все кончено, что сомнений в ее невинности не может быть и что я сейчас накажу ее и кончу мои отношения с нею.

Прежде еще были у меня колебания, я говорил себе: «А может быть, это неправда, может быть, я ошибаюсь», — теперь уж этого не было. Все было решено бесповоротно. Тайно от меня, одна с ним, ночью! Это уже совершенное забвение всего. Или еще хуже: нарочно такая смелость, дерзость в преступлении, чтобы дерзость эта служила признаком невинности. Все ясно. Сомнения нет. Я боялся только одного, как бы они не разбежались, не придумали еще нового обмана и не лишили меня тем и очевидности улики, и возможности наказать. И, с тем чтоб скорее застать их, я на цыпочках пошел в залу, где они сидели, не через гостиную, а через коридор и детскую.

В первой детской мальчики спали. Во второй детской няня зашевелилась, хотела проснуться, и я представил себе то, что она подумает, узнав

все, и такая жалость к себе охватила меня при этой мысли, что я не мог удержаться от слез и, чтобы не разбудить детей, выбежал на цыпочках в коридор и к себе в кабинет, повалился на свой диван и зарыдал.

«Я — честный человек, я — сын своих родителей, я — всю жизнь мечтавший о счастье семейной жизни, я — мужчина, никогда не изменявший ей… И вот! пять человек детей, и она обнимает музыканта, оттого что у него красные губы! Нет, это не человек!

Это сука, это мерзкая сука! Рядом с комнатой детей, в любви к которым она притворялась всю свою жизнь. И писать мне то, что она писала! И так нагло броситься на шею! Да что я знаю? может быть, все время это так было. Может быть, она давно с лакеями прижила всех детей, которые считаются моими. И завтра я бы приехал, и она в своей прическе, с своей этой талией и ленивыми грациозными движениями (я увидал все ее привлекательное ненавистное лицо) встретила бы меня, и зверь этот ревности навеки сидел бы у меня в сердце и раздирал бы его. Няня что подумает, Егор. И бедная Лизочка! Она уже понимала что-то. И эта наглость! и эта ложь! и эта животная чувственность, которую я так знаю», — говорил

я себе.

Я хотел встать, но не мог. Сердце так билось, что я не мог устоять на ногах. Да, я умру от удара. Она убьет меня. Ей это и надо. Что ж, ей убить? Да нет, это бы ей было слишком выгодно, и этого удовольствия я не доставлю ей. Да, и я сижу, а они там едят и смеются, и… Да, несмотря на то, что она была уж не первой свежести, он не побрезгал ею: все-таки она была недурна, главное же, по крайней мере, было безопасно для его драгоценного здоровья. «И зачем я не задушил ее тогда», — сказал я себе, вспомнив ту минуту, когда я неделю тому назад выталкивал ее из кабинета и потом колотил вещи. Мне живо вспомнилось то состояние, в котором я был тогда; не только вспомнилось, но я ощутил ту же потребность бить, разрушать, которую я ощущал тогда. Помню, как мне захотелось действовать, и всякие соображения, кроме тех, которые нужны были для действия, выскочили у меня из головы. Я вступил в то состояние зверя или человека под влиянием физического возбуждения во время опасности, когда человек действует точно, неторопливо, но и не теряя ни минуты, и все только с одною определенною целью.

XXVII

— Первое, что я сделал, я снял сапоги и, оставшись в чулках, подошел к стене над диваном, где у меня висели ружья и кинжалы, и взял кривой дамасский кинжал, ни разу не употреблявшийся и страшно острый. Я вынул его из ножен. Ножны, я помню, завалились за диван, и помню, что я сказал себе: «Надо после найти их, а то пропадут». Потом я снял пальто, которое все время было на мне, и, мягко ступая в одних чулках, пошел туда.

И подкравшись тихо, я вдруг отворил дверь. Помню выражение их лиц. Я помню это выражение, потому что выражение это доставило мне мучительную радость. Это было выражение ужаса. Этого-то мне и надо было. Я никогда не забуду выражение отчаянного ужаса, которое выступило в первую секунду на обоих их лицах, когда они увидали меня. Он сидел, кажется, за столом, но, увидав или услыхав меня, вскочил на ноги и остановился спиной к шкафу. На его лице было одно очень несомненное выражение ужаса. На ее лице было то же выражение ужаса, но с ним вместе было и другое. Если бы оно было одно,

может быть, не случилось бы того, что случилось; но в выражении ее лица было, по крайней мере показалось мне в первое мгновенье, было еще огорченье, недовольство тем, что нарушили ее увлечение любовью и ее счастье с ним. Ей как будто ничего не нужно было, кроме того, чтобы ей не мешали быть счастливой теперь. То и другое выражение только мгновение держалось на их лицах. Выражение ужаса в его лице тотчас же сменилось выражением вопроса: можно лгать или нет? Если можно, то надо начинать. Если нет, то начнется еще что-то другое. Но что? Он вопросительно взглянул на нее. На ее лице выражение досады и огорчения сменилось, как мне показалось, когда она взглянула на него, заботою о нем.

На мгновенье я остановился в дверях, держа кинжал за спиною. В это же мгновение он улыбнулся и до смешного равнодушным тоном начал:

— А мы вот музицировали…

— Вот не ждала, — в то же время начала и она, покоряясь его тону.

Но ни тот, ни другой не договорили: то же самое бешенство, которое я испытывал неделю тому назад, овладело мной. Опять я испытал эту потребность разрушения, насилия и восторга

бешенства и отдался ему.

Оба не договорили… Началось то другое, чего он боялся, что разрывало сразу все, что они говорили. Я бросился к ней, все еще скрывая кинжал, чтобы он не помешал мне ударить ее в бок под грудью. Я выбрал это место с самого начала. В ту минуту, как я бросился к ней, он увидал, и, чего я никак не ждал от него, он схватил меня за руку и крикнул:

— Опомнитесь, что вы! Люди!

Я вырвал руку и молча бросился к нему. Его глаза встретились с моими, он вдруг побледнел как полотно, до губ, глаза сверкнули как-то особенно, и, чего я тоже никак не ожидал, он шмыгнул под фортепиано, в дверь. Я бросился было за ним, но на левой руке моей повисла тяжесть. Это была она. Я рванулся. Она еще тяжелее повисла и не выпускала. Неожиданная эта помеха, тяжесть и ее отвратительное мне прикосновение еще больше разожгли меня. Я чувствовал, что я вполне бешеный и должен быть страшен, и радовался этому. Я размахнулся изо всех сил левой рукой и локтем попал ей в самое лицо. Она вскрикнула и выпустила мою руку. Я хотел бежать за ним, но вспомнил, что было бы смешно бежать в чулках за любовником своей жены, а я не хотел

быть смешон, а хотел быть страшен. Несмотря на страшное бешенство, в котором я находился, я помнил все время, какое впечатление я произвожу на других, и даже это впечатление отчасти руководило мною. Я повернулся к ней. Она упала на кушетку и, схватившись рукой за расшибленные мною глаза, смотрела на меня. В лице ее были страх и ненависть ко мне, к врагу, как у крысы, когда поднимают мышеловку, в которую она попалась. Я, по крайней мере, ничего не видел в ней, кроме этого страха и ненависти ко мне. Это был тот самый страх и ненависть ко мне, которые должна была вызвать любовь к другому. Но еще, может быть, я удержался бы и не сделал бы того, что я сделал, если бы она молчала. Но она вдруг начала говорить и хватать меня рукой за руку с кинжалом:

— Опомнись! Что ты? Что с тобой? Ничего нет, ничего, ничего… Клянусь!

Я бы и еще помедлил, но эти последние слова ее, по которым я заключил обратное, то есть, что все было, вызывали ответ. И ответ должен был быть соответствен тому настроению, в которое я привел себя, которое все шло crescendo[2] и

---

[2] Примечания: 2
Нарастая (*итал.*).

должно было продолжать так же возвышаться. У бешенства есть тоже свои законы.

— Не лги, мерзавка! — завопил я и левой рукой схватил ее за руку, но она вырвалась. Тогда все-таки я, не выпуская кинжала, схватил ее левой рукой за горло, опрокинул навзничь и стал душить. Какая жесткая шея была… Она схватилась обеими руками за мои руки, отдирая их от горла, и я как будто этого-то и ждал, изо всех сил ударил ее кинжалом в левый бок, ниже ребер.

Когда люди говорят, что они в припадке бешенства не помнят того, что они делают, — это вздор, неправда. Я все помнил и ни на секунду не переставал помнить. Чем сильнее я разводил сам в себе пары своего бешенства, тем ярче разгорался во мне свет сознания, при котором я не мог не видеть всего того, что я делал. Всякую секунду я знал, что я делаю. Не могу сказать, чтобы я знал вперед, что я буду делать, но в ту секунду, как я делал, даже, кажется, несколько вперед, я знал, что я делаю, как будто для того, чтоб возможно было раскаяться, чтоб я мог себе сказать, что я мог остановиться. Я знал, что я ударяю ниже ребер и что кинжал войдет. В ту минуту, как я делал это, я знал, что я делаю нечто ужасное, такое, какого я никогда не делал и которое будет иметь ужасные

последствия. Но сознание это мелькнуло как молния, и за сознанием тотчас же следовал поступок. И поступок сознавался с необычайной яркостью. Я слышал и помню мгновенное противодействие корсета и еще чего-то и потом погружение ножа в мягкое. Она схватилась руками за кинжал, обрезала их, но не удержала. Я долго потом, в тюрьме, после того как нравственный переворот совершился во мне, думал об этой минуте, вспоминал, что мог, и соображал. Помню на мгновение, только на мгновение, предварявшее поступок, страшное сознание того, что я убиваю и убил женщину, беззащитную женщину, мою жену. Ужас этого сознания я помню и потому заключаю и даже вспоминаю смутно, что, воткнув кинжал, я тотчас же вытащил его, желая поправить сделанное и остановить. Я секунду стоял неподвижно, ожидая, что будет, можно ли поправить. Она вскочила на ноги, вскрикнула:

— Няня! он убил меня!

Услыхавшая шум няня стояла в дверях. Я все стоял, ожидая и не веря. Но тут из-под ее корсета хлынула кровь. Тут только я понял, что поправить нельзя, и тотчас же решил, что и не нужно, что я этого самого и хочу и это самое и должен был сделать. Я подождал, пока она упала и ня-

ня с криком: «Батюшки!» — подбежала к ней, и тогда только бросил кинжал прочь и пошел из комнаты.

«Не надо волноваться, надо знать, что я делаю», — сказал я себе, не глядя на нее и няню. Няня кричала, звала девушку. Я прошел коридором и, послав девушку, пошел в свою комнату. «Что теперь надо делать?» — спросил себя и тотчас же понял что. Войдя в кабинет я прямо подошел к стене, снял с нее револьвер, осмотрел его — он был заряжен — и положил на стол. Потом достал ножны из-за дивана и сел на диван.

Долго я сидел так. Я ничего не думал, ничего не вспоминал. Я слышал, что там что-то возились. Слышал, как приехал кто-то, потом еще кто-то. Потом слышал и видел, как Егор внес мою привезенную корзину в кабинет. Точно кому-нибудь это нужно!

— Слышал ты, что случилось? — сказал я. — Скажи дворнику, чтобы дали знать в полицию.

Он ничего не сказал и ушел. Я встал, запер дверь и, достав папироски и спичку, стал курить. Я не докурил папироски, как меня схватил и повалил сон. Я спал, верно, часа два. Помню, я видел во сне, что мы дружны с ней, поссорились, но миримся, и что немножко что-то мешает, но

мы дружны. Меня разбудил стук в дверь. «Это полиция, — подумал я, просыпаясь. — Ведь я убил, кажется. А может быть, это она, и ничего не было». В дверь еще постучались. Я ничего не отвечал, решая вопрос: было это или не было? Да, было. Я вспомнил сопротивление корсета и погружение ножа, и мороз пробежал по спине. «Да, было. Да, теперь надо и себя», — сказал я себе. Но я говорил это и знал, что я не убью себя. Однако я встал и взял опять в руки револьвер. Но странное дело: помню, как прежде много раз я был близок к самоубийству, как в тот день даже, на железной дороге, мне это легко казалось, легко именно потому, что я думал, как я этим поражу ее. Теперь я никак не мог не только убить себя, но и подумать об этом. «Зачем я это сделаю?» — спрашивал я себя, и ответа не было. В дверь постучались еще. «Да, прежде надо узнать, кто это стучится. Успею еще». Я положил револьвер и покрыл его газетой. Я подошел к двери и отодвинул задвижку. Это была сестра жены, добрая, глупая вдова.

— Вася! что это? — сказала она, и всегда готовые у ней слезы полились.

— Что надо? — грубо спросил я. Я видел, что совсем не надо было и незачем было быть с ней грубым, но я не мог придумать никакого другого

тона.

— Вася, она умирает! Иван Федорович сказал. — Иван Федорович это был доктор, ее доктор, советчик.

— Разве он здесь? — спросил я, и вся злоба на нее поднялась опять. — Ну так что ж?

— Вася, поди к ней. Ах, как это ужасно, — сказала она.

«Пойти к ней?» — задал я себе вопрос. И тотчас же ответил, что надо пойти к ней, что, вероятно, всегда так делается, что когда муж, как я, убил жену, то непременно надо идти к ней. «Если так делается, то надо идти, — сказал я себе. — Да если нужно будет, всегда успею», — подумал я о своем намерении застрелиться и пошел за нею. «Теперь будут фразы, гримасы, но я не поддамся им», — сказал я себе.

— Постой, — сказал я сестре, — глупо без сапог, дай я надену хоть туфли.

XXVIII

— И удивительное дело! Опять, когда я вышел из комнаты и пошел по привычным комнатам, опять во мне явилась надежда, что ничего не было, но запах этой докторской гадости — йодоформ, карболка — поразил меня. Нет, все было. Проходя по коридору мимо детской, я увидал Лизоньку. Она смотрела на меня испуганными глазами. Мне показалось даже, что тут были все пятеро детей и все смотрели на меня. Я подошел к двери, и горничная изнутри отворила мне и вышла. Первое, что бросилось мне в глаза, было ее светло-серое платье на стуле, все черное от крови. На нашей двуспальной постели, на моей даже постели — к ней был легче подход — лежала она с поднятыми коленями. Она лежала очень отлого на одних подушках, в расстегнутой кофте. На месте раны было что-то наложено. В комнате был тяжелый запах йодоформа. Прежде и больше всего поразило меня ее распухшее и синеющее по отекам лицо, часть носа и под глазом. Это было последствие удара моего локтем, когда она хотела удерживать меня. Красоты не было никакой, а

что-то гадкое показалось мне в ней. Я остановился у порога.

— Подойди, подойди к ней, — говорила мне сестра.

«Да, верно, она хочет покаяться», — подумал я. «Простить? Да, она умирает, и можно простить ее», — думал я, стараясь быть великодушным. Я подошел вплоть. Она с трудом подняла на меня глаза, из которых один был подбитый, и с трудом, с запинками проговорила:

— Добился своего, убил… — И в лице ее, сквозь физические страдания и даже близость смерти, выразилась та же старая, знакомая мне холодная животная ненависть. — Детей… я все-таки тебе… не отдам… Она (ее сестра) возьмет…

О том же, что было главным для меня, о своей вине, измене, она как бы считала нестоящим упоминать.

— Да, полюбуйся на то, что ты сделал, — сказала она, глядя в дверь, и всхлипнула. В двери стояла сестра с детьми. — Да, вот что ты сделал.

Я взглянул на детей, на ее с подтеками разбитое лицо и в первый раз забыл себя, свои права, свою гордость, в первый раз увидал в ней человека. И так ничтожно мне показалось все то, что оскорбляло меня, — вся моя ревность, и так значительно

то, что я сделал, что я хотел припасть лицом к ее руке и сказать: «Прости!» — но не смел.

Она молчала, закрыв глаза, очевидно не в силах говорить дальше. Потом изуродованное лицо ее задрожало и сморщилось. Она слабо оттолкнула меня.

— Зачем все это было? Зачем?

— Прости меня, — сказал я.

— Прости? Все это вздор!.. Только бы не умереть!.. — вскрикнула она, приподнялась, и лихорадочно блестящие глаза ее устремились на меня. — Да, ты добился своего!.. Ненавижу!.. Ай! Ах! — очевидно, в бреду, пугаясь чего-то, закричала она. — Ну, убивай, убивай, я не боюсь… Только всех, всех, и его. Ушел, ушел!

Бред продолжался все время. Она не узнавала никого. В тот же день, к полдню, она померла. Меня прежде этого, в восемь часов, отвели в часть и оттуда в тюрьму. И там, просидев одиннадцать месяцев, дожидаясь суда, я обдумал себя и свое прошедшее и понял его. Начал понимать я на третий день. На третий день меня водили туда…

Он что-то хотел сказать и, не в силах будучи удержать рыдания, остановился. Собравшись с силами, он продолжал:

— Я начал понимать только тогда, когда увидал

ее в гробу. — Он всхлипнул, но тотчас же торопливо продолжал: — Только тогда, когда я увидал ее мертвое лицо, я понял все, что я сделал. Я понял, что я, я убил ее, что от меня сделалось то, что она была живая, движущаяся, теплая, а теперь стала неподвижная, восковая, холодная и что поправить этого никогда, нигде, ничем нельзя. Тот, кто не пережил этого, от не может понять… У! у! у!.. — вскрикнул он несколько раз и затих.

Мы долго сидели молча. Он всхлипывал и трясся молча передо мной.

— Ну, простите…

Он отвернулся от меня и прилег на лавке, закрывшись пледом. На той станции, где мне надо было выходить, — это было в восемь часов утра, — я подошел к нему, чтобы проститься. Спал ли он или притворялся, но он не шевелился. Я тронул его рукой. Он открылся, и видно было, что он не спал.

— Прощайте, — сказал я, подавая ему руку.

Он подал мне руку и чуть улыбнулся, но так жалобно, что мне захотелось плакать.

— Да, простите, — повторил он то же слово, которым заключил и весь рассказ.

Послесловие к «Крейцеровой сонате»

Я получил и получаю много писем от незнакомых мне лиц, просящих меня объяснить в простых и ясных словах то, что я думаю о предмете написанного мною рассказа под заглавием «Крейцерова соната». Попытаюсь это сделать, то есть в коротких словах выразить, насколько это возможно, сущность того, что я хотел сказать в этом рассказе, и тех выводов, которые, по моему мнению, можно сделать из него.

Хотел я сказать, *во-первых*, то, что в нашем обществе сложилось твердое, общее всем сословиям и поддерживаемое ложной наукой убеждение в том, что половое общение есть дело необходимое для здоровья и что так как женитьба есть дело не всегда возможное, то и половое общение вне брака, не обязывающее мужчину ни к чему, кроме денежной платы, есть дело совершенно естественное и потому долженствующее быть поощряемым. Убеждение это до такой степени стало общим и твердым, что родители, по совету врачей, устраивают разврат для своих детей;

правительства, единственный смысл которых состоит в заботе о нравственном благосостоянии своих граждан, учреждают разврат, то есть регулируют целое сословие женщин, долженствующих погибать телесно и душевно для удовлетворения мнимых потребностей мужчин, а холостые люди с совершенно спокойной совестью предаются разврату.

И вот я хотел сказать, что это нехорошо, потому что не может быть того, чтобы для здоровья одних людей можно бы было губить тела и души других людей, так же как не может быть того, чтобы для здоровья одних людей нужно было пить кровь других.

Вывод же, который, мне кажется, естественно сделать из этого, тот, что поддаваться этому заблуждению и обману не нужно. А для того, чтобы не поддаваться, надо, во-первых, не верить безнравственным учениям, какими бы они ни поддерживались мнимыми науками, а во-вторых, понимать, что вступление в такое половое общение, при котором люди или освобождают себя от возможных последствий его — детей, или сваливают всю тяжесть этих последствий на женщину, или предупреждают возможность рождения детей, — что такое половое общение

есть преступление самого простого требования нравственности, есть подлость, и что потому холостым людям, не хотящим жить подло, надо не делать этого.

Для того же, чтобы они могли воздержаться, они должны, кроме того что вести естественный образ жизни: не пить, не объедаться, не есть мяса и не избегать труда (не гимнастики, а утомляющего, не игрушечного труда), не допускать в мыслях своих возможности общения с чужими женщинами, так же как всякий человек не допускает такой возможности между собой и матерью, сестрами, родными, женами друзей.

Доказательство же того, что воздержание возможно и менее опасно и вредно для здоровья, чем невоздержание, всякий мужчина найдет вокруг себя сотни.

Это первое.

Второе то, что в нашем обществе, вследствие взгляда на любовное общение не только как на необходимое условие здоровья и на удовольствие, но и как на поэтическое, возвышенное благо жизни, супружеская неверность сделалась во всех слоях общества (в крестьянском особенно, благодаря солдатству) самым обычным явлением.

И я полагаю, что это нехорошо. Вывод же, ко-

торый вытекает из этого, тот, что этого не надо делать.

Для того же, чтобы не делать этого, надо, чтобы изменился взгляд на плотскую любовь, чтобы мужчины и женщины воспитывались бы в семьях и общественным мнением так, чтобы они и до и после женитьбы не смотрели на влюбление и связанную с ним плотскую любовь как на поэтическое и возвышенное состояние, как на это смотрят теперь, а как на унизительное для человека животное состояние, и чтобы нарушение обещания верности, даваемого в браке, казнилось бы общественным мнением по крайней мере так же, как казнятся им нарушения денежных обязательств и торговые обманы, а не воспевалось бы, как это делается теперь, в романах, стихах, песнях, операх и т. д.

Это второе.

Третье то, что в нашем обществе, вследствие опять того же ложного значения, которое придано плотской любви, рождение детей потеряло свой смысл и, вместо того, чтобы быть целью и оправданием супружеских отношений, стало помехой для приятного продолжения любовных отношений, и что потому и вне брака и в браке, по совету служителей врачебной науки, стало

распространяться употребление средств, лишающих женщину возможности деторождения или стало входить в обычай и привычку то, чего не было прежде и теперь еще нет в патриархальных крестьянских семьях: продолжение супружеских отношений при беременности и кормлении.

И полагаю я, что это нехорошо. Нехорошо употреблять средства против рождения детей, во-первых, потому, что это освобождает людей от забот и трудов о детях, служащих искуплением плотской любви, а во-вторых, потому, что это нечто весьма близкое к самому противному человеческой совести действию — убийству. И нехорошо невоздержание во время беременности и кормления, потому что это губит телесные, а главное — душевные силы женщины.

Вывод же, который вытекает из этого, тот, что этого не надо делать. А для того, чтобы этого не делать, надо понять, что воздержание, составляющее необходимое условие человеческого достоинства при безбрачном состоянии, еще более обязательно в браке.

Это третье.

Четвертое то, что в нашем обществе, в котором дети представляются или помехой для наслаждения, или несчастной случайностью, или своего

рода наслаждением, когда их рождается вперед определенное количество, эти дети воспитываются не в виду тех задач человеческой жизни, которые предстоят им как разумным и любящим существам, а только в виду тех удовольствий, которые они могут доставить родителям. И что вследствие этого дети людей воспитываются как дети животных, так что главная забота родителей состоит не в том, чтобы приготовить их к достойной человека деятельности, а в том (в чем поддерживаются родители ложной наукой, называемой медициной), чтобы как можно лучше напитать их, увеличить их рост, сделать их чистыми, белыми, сытыми, красивыми (если в низших классах этого не делают, то только по необходимости, а взгляд один и тот же). И в изнеженных детях, как и во всяких перекормленных животных, неестественно рано появляется непреодолимая чувственность, составляющая причину страшных мучений этих детей в отроческом возрасте. Наряды, чтения, зрелища, музыка, танцы, сладкая пища, вся обстановка жизни, от картинок на коробках до романов и повестей и поэм, еще более разжигают эту чувственность, и вследствие этого самые ужасные половые пороки и болезни делаются обычными условиями

выращивания детей обоего пола и часто остаются и в зрелом возрасте.

И я полагаю, что это нехорошо. Вывод же, который можно сделать из этого, тот, что надо перестать воспитывать детей людей, как детей животных, и для воспитания людских детей поставить себе другие цели, кроме красивого, выхоленного тела.

Это четвертое.

Пятое то, что в нашем обществе, где влюбление между молодым мужчиной и женщиной, имеющее в основе все-таки плотскую любовь, возведено в высшую поэтическую цель стремлений людей, свидетельством чего служит все искусство и поэзия нашего общества, молодые люди лучшее время своей жизни посвящают: мужчины на выглядывание, приискивание и овладевание наилучшими предметами любви в форме любовной связи или брака, а женщины и девушки — на заманиванье и вовлечение мужчин в связь или брак.

И от этого лучшие силы людей тратятся не только на непроизводительную, но на вредную работу. От этого происходит большая часть безумной роскоши нашей жизни, от этого — праздность мужчин и бесстыдство женщин, не пренебрега-

ющих выставленным по модам, заимствуемым от заведомо развратных женщин, вызывающих чувственность частей тела.

И я полагаю, что это нехорошо.

Нехорошо это потому, что достижение цели соединения в браке или вне брака с предметом любви, как бы оно ни было опоэтизировано, есть цель, недостойная человека, так же как недостойна человека представляющаяся многим людям высшим благом цель приобретения себе сладкой и изобильной пищи.

Вывод же, который можно сделать из этого, тот, что надо перестать думать, что любовь плотская есть нечто особенно возвышенное, а надо понять, что цель, достойная человека, — служение ли человечеству, отечеству, науке, искусству ли (не говоря уже о служении богу) — какая бы она ни была, если только мы считаем ее достойной человека, не достигается посредством соединения с предметом любви в браке или вне его, а что, напротив, влюбление и соединение с предметом любви (как бы ни старались доказывать противное в стихах и прозе) никогда не облегчает достижение достойной человека цели, но всегда затрудняет его. Это пятое.

Вот то существенное, что я хотел сказать и ду-

мал, что сказал в своем рассказе. И мне казалось, что можно рассуждать о том, как исправить то зло, на которое указывали эти положения, но что не согласиться с ними никак нельзя.

Мне казалось, что не согласиться с этими положениями нельзя, во-первых, потому, что положения эти вполне согласны с прогрессом человечества, всегда шедшим от распущенности к большей и большей целомудренности, и с нравственным сознанием общества, с нашей совестью, всегда осуждающей распущенность и ценящей целомудрие; и, во-вторых, потому, что эти положения суть только неизбежные выводы из учения Евангелия, которые мы или исповедуем, или, по крайней мере, хотя и бессознательно, признаем основой наших понятий о нравственности. Но вышло не так.

Никто, правда, прямо не оспаривает положение о том, что развратничать не надо до брака, не надо и после брака, что не надо искусственно уничтожать деторождение, что не надо из детей делать забавы и не надо ставить любовное соединение выше всего остального, — одним словом, никто не спорит о том, что целомудрие лучше распущенности. Но говорят: «Если безбрачие лучше брака, то очевидно, что люди должны

делать то, что лучше. Если же люди сделают это, то род человеческий прекратится, и потому не может быть идеалом рода человеческого уничтожение его».

Но не говоря уже о том, что уничтожение рода человеческого не есть понятие новое для людей нашего мира, а есть для религиозных людей догмат веры, для научных же людей неизбежный вывод наблюдений об охлаждении солнца, в возражении этом есть большое, распространенное и старое недоразумение.

Говорят: «Если люди достигнут идеала полного целомудрия, то они уничтожаются, и потому идеал этот не верен». Но те, которые говорят так, умышленно или неумышленно смешивают две разнородные вещи — правило, предписание и идеал.

Целомудрие не есть правило или предписание, а идеал или, скорее, — одно из условий его. А идеал только тогда идеал, когда осуществление его возможно только в идее, в мысли, когда он представляется достижимым только в бесконечности и когда поэтому возможность приближения к нему — бесконечна. Если бы идеал не только мог быть достигнут, но мы могли б представить себе его осуществление, он бы перестал быть идеалом.

Таков идеал Христа, — установление царства бога на земле, идеал, предсказанный еще пророками о том, что наступит время, когда все люди будут научены богом, перекуют мечи на орала, копья на серпы, лев будет лежать с ягненком и когда все существа будут соединены любовью. Весь смысл человеческой жизни заключается в движении по направлению к этому идеалу, и потому стремление к христианскому идеалу во всей его совокупности и к целомудрию, как к одному из условий этого идеала, не только не исключает возможности жизни, но, напротив того, отсутствие этого христианского идеала уничтожило бы движение вперед и, следовательно, возможность жизни.

Суждение о том, что род человеческий прекратится, если люди всеми силами будут стремиться к целомудрию, подобно тому, которое сделали бы (да и делают), что род человеческий погибнет, если люди, вместо борьбы за существование, будут всеми силами стремиться к осуществлению любви к друзьям, к врагам, ко всему живущему. Суждения такие вытекают из непонимания различия двух приемов нравственного руководства.

Как есть два способа указания пути ищущему, указания путешественнику, так есть и два спо-

соба нравственного руководства для ищущего правды человека. Один способ состоит в том, что человеку указываются предметы, долженствующие встретиться ему, и он направляется по этим предметам.

Другой способ состоит в том, что человеку дается только направление по компасу, который человек несет с собой и на котором он видит всегда одно неизменное направление и потому всякое свое отклонение от него.

Первый способ нравственного руководства есть способ внешних определений, правил: человеку даются определенные признаки поступков, которые он должен и которых не должен делать.

«Соблюдай субботу, обрезывайся, не крадь, не пей хмельного, не убивай живого, отдавай десятину бедным, не прелюбодействуй, омывайся и молись пять раз в день, крестись, причащайся и т. под.». Таковы постановления внешних религиозных учений: браминского, буддийского, магометанского, еврейского, церковного, ложно называемого христианским.

Другой способ есть способ указания человеку никогда не достижимого им совершенства, стремление к которому человек сознает в себе: человеку указывается идеал, по отношению к

которому он всегда может видеть степень своего удаления от него.

«Люби бога твоего всем сердцем, и всею душой твоей, и всем разумением твоим и ближнего, как самого себя. Будьте совершенны, как отец ваш небесный».

Таково учение Христа.

Поверка исполнения внешних религиозных учений есть совпадение поступков с определениями этих учений, и совпадение это возможно.

Поверка исполнения Христова учения есть сознание степени несоответствия с идеальным совершенством. (Степень приближения не видна: видно одно отклонение от совершенства.)

Человек, исповедующий внешний закон, есть человек, стоящий в свете фонаря, привешенного к столбу. Он стоит в свете этого фонаря, ему светло, и идти ему дальше некуда. Человек, исповедующий Христово учение, подобен человеку, несущему фонарь перед собой на более или менее длинном шесте: свет всегда впереди его и всегда побуждает его идти за собой и вновь открывает ему впереди его новое, влекущее к себе освещенное пространство.

Фарисей благодарит бога за то, что он исполняет все.

Богатый юноша тоже исполнил все с детства и не понимает, чего может недоставать ему. И они не могут думать иначе: впереди их нет того, к чему бы они могли продолжать стремиться. Десятина отдана, суббота соблюдена, родители почтены, прелюбодеяния, воровства, убийства — нет. Чего же еще? Для исповедующего же христианское учение достижение всякой ступени совершенства вызывает потребность вступления на высшую ступень, с которой открывается еще высшая, и так без конца.

Исповедующий закон Христа всегда в положении мытаря. Он всегда чувствует себя несовершенным, не видя позади себя пути, который он прошел, а видя всегда впереди себя тот путь, по которому еще надо идти и который он не прошел еще.

В этом состоит различие учения Христа от всех других религиозных учений, различие, заключающееся не в различии требований, а в различии способа руководства людей. Христос не давал никаких определений жизни, он никогда не устанавливал никаких учреждений, никогда не устанавливал и брака. Но люди, не понимающие особенности учения Христа, привыкшие к внешним учениям и желающие чувствовать себя

правыми, как чувствует себя правым фарисей, противно всему духу учения Христа, из буквы его сделали внешнее учение правил, называемое церковным христианским учением, и этим учением подменили истинное Христово учение идеала.

Церковные, называющие себя христианскими, учения по отношению ко всем проявлениям жизни вместо учения идеала Христа поставили внешние определения и правила, противные духу учения. Это сделано по отношению власти, суда, войска, церкви, богослужения, это сделано и по отношению брака: несмотря на то что Христос не только никогда не устанавливал брака, но уж если отыскивать внешние определения, то скорее отрицал его («оставь жену и иди за мной»), церковные учения, называющие себя христианскими, установили брак как христианское учреждение, то есть определили внешние условия, при которых плотская любовь может для христианина будто бы быть безгрешною, вполне законною.

Но так как в истинном христианском учении нет никаких оснований для учреждения брака, то и вышло то, что люди нашего мира от одного берега отстали и к другому не пристали, то есть

не верят, в сущности, в церковные определения брака, чувствуя, что это учреждение не имеет оснований в христианском учении, и вместе с тем не видят перед собой закрытого церковным учением идеала Христа, стремления к полному целомудрию и остаются по отношению брака без всякого руководства. От этого-то и происходит то, кажущееся сначала странным, явление, что у евреев, магометан, ламаистов и других, признающих религиозные учения гораздо низшего уровня, чем христианское, но имеющих точные внешние определения брака, семейное начало и супружеская верность несравненно тверже, чем у так называемых христиан.

У тех есть определенное наложничество, многоженство, ограниченное известными пределами. У нас же существует полная распущенность и наложничество, многоженство и многомужество, не подчиненное никаким определениям, скрывающееся под видом воображаемого единобрачия.

Только потому, что над некоторой частью соединяющихся совершается духовенством за деньги известная церемония, называемая церковным браком, люди нашего мира наивно или лицемерно воображают, что живут в единобрачии.

Христианского брака быть не может и никогда не было, как никогда не было и не может быть ни христианского богослужения (Мф. VI, 5—12; Иоан. IV, 21), ни христианских учителей и отцов (Мф. XXIII, 8—10), ни христианской собственности, ни христианского войска, ни суда, ни государства. Так и понималось это всегда истинными христианами первых и последующих веков.

Идеал христианина есть любовь к богу и ближнему, есть отречение от себя для служения богу и ближнему; плотская же любовь, брак, есть служение себе и потому есть, во всяком случае, препятствие служению богу и людям, а потому с христианской точки зрения — падение, грех.

Вступление в брак не может содействовать служению богу и людям даже в том случае, если бы вступающие в брак имели бы целью продолжение рода человеческого. Таким людям, вместо того чтобы вступать в брак для произведения детских жизней, гораздо проще поддерживать и спасать те миллионы детских жизней, которые гибнут вокруг нас от недостатка не говорю уже духовной, но материальной пищи.

Только в том случае мог бы христианин без сознания падения, греха вступить в брак, если бы он видел и знал, что все существующие жизни

детей обеспечены.

Можно не принимать учения Христа, того учения, которым проникнута вся наша жизнь и на котором основана вся наша нравственность, но, принимая это учение, нельзя не признавать того, что оно указывает идеал полного целомудрия.

В Евангелии ведь сказано ясно и без возможности какого-либо перетолкования — во-первых, то, что женатому не должно разводиться с женой, с тем чтобы взять другую, а должно жить с той, с которой раз сошелся (Мф. V, 31–32; XIX, 8); во-вторых, то, что человеку вообще, и, следовательно, как женатому, так и неженатому, грешно смотреть на женщину как на предмет наслаждения (Мф. V, 28–29), и, в-третьих, то, что неженатому лучше не жениться вовсе, то есть быть вполне целомудренным (Мф. XIX, 10–12).

Для многих и многих мысли эти покажутся странными и даже противоречивыми. И они действительно противоречивы, но не между собой, а мысли эти противоречат всей нашей жизни, и невольно является сомнение: кто прав? — мысли ли эти или жизнь миллионов людей и моя? Это самое чувство испытывал и я в сильнейшей степени, когда приходил к тем убеждениям, которые теперь высказываю: я никак не ожидал,

что ход моих мыслей приведет меня к тому, к чему он привел меня. Я ужасался своим выводам, хотел не верить им, но не верить нельзя было. И как ни противоречат эти выводы всему строю нашей жизни, как ни противоречат тому, что я прежде думал и высказывал даже, я должен был признать их.

«Но все это общие соображения, которые, может быть, и справедливы, но относятся к учению Христа и обязательны для тех, которые исповедуют его, но жизнь есть жизнь, и нельзя, указав впереди недостижимый идеал Христа, оставить людей в одном из самых жгучих, общих и производящих наибольшие бедствия вопросов с одним этим идеалом без всякого руководства.

Молодой, страстный человек сначала увлечется идеалом, но не выдержит, сорвется и, не зная и не признавая никаких правил, попадет в полный разврат!»

Так рассуждают обыкновенно.

«Христов идеал недостижим, поэтому не может служить нам руководством в жизни; о нем можно говорить, мечтать, но для жизни он неприложим, и потому надо оставить его. Нам нужен не идеал, а правило, руководство, которое было бы по нашим силам, по среднему уровню нравственных

сил нашего общества: церковный честный брак или хоть даже не совсем честный брак, при котором один из брачущихся, как у нас, мужчина, уже сходился со многими женщинами, или хотя бы брак с возможностью развода, или хотя бы гражданский, или (идя по тому же пути) хотя бы японский на срок, — почему же не дойти и до домов терпимости?»

Говорят, это лучше, чем уличный разврат. В том-то и беда, что, позволив себе принижать идеал по своей слабости, нельзя найти того предела, на котором надо остановиться.

Но ведь это рассуждение с самого начала неверно; неверно прежде всего то, чтобы идеал бесконечного совершенства не мог быть руководством в жизни и чтобы нужно было, глядя на него, или махнуть рукой, сказав, что он мне не нужен, так как я никогда не достигну его, или принизить идеал до тех ступеней, на которых хочется стоять моей слабости.

Рассуждать так — все равно что мореплавателю сказать себе, что так как я не могу идти по той линии, которую указывает компас, то я выкину компас или перестану смотреть на него, то есть отброшу идеал, или прикреплю стрелку компаса к тому месту, которое будет соответствовать в

данную минуту ходу моего судна, то есть принижу идеал к моей слабости. Идеал совершенства, данный Христом, не есть мечта или предмет риторических проповедей, а есть самое необходимое, всем доступное руководство нравственной жизни людей, как компас — необходимое и доступное орудие руководства морехода; только надо верить как в то, так и в другое. В каком бы ни находился человек положении, всегда достаточно учения идеала, данного Христом, для того, чтобы получить самое верное указание тех поступков, которые должно и не должно совершать. Но надо верить этому учению вполне, этому одному учению, перестать верить во все другие, точно так же как надо мореходу верить в компас, перестать приглядываться и руководиться тем, что он видит по сторонам. Надо уметь руководствоваться христианским учением, как уметь руковод-ствоваться компасом, а для этого, главное, надо понимать свое положение, надо уметь не бояться с точностью определять свое отклонение от идеального данного направления. На какой бы ступени ни стоял человек, всегда есть для него возможность приближения к этому идеалу, и никакое положение для него не может быть таким, в котором бы он мог сказать, что он

достиг его, и не мог бы стремиться к еще большему приближению. Таково стремление человека к христианскому идеалу вообще и таково же к целомудрию в частности. Если представить себе по отношению полового вопроса самые различные положения людей — от невинного детства до брака, — в которых не соблюдается воздержание, на каждой ступени между этими двумя положениями учение Христа с выставляемым им идеалом будет всегда служить ясным и определенным руководством того, что должно и не должно на каждой из этих ступеней делать человеку.

Что делать чистому юноше, девушке? Соблюдать себя чистыми от соблазнов и, для того чтобы быть в состоянии все свои силы отдать на служение богу и людям, стремиться к большему и большему целомудрию мыслей и желаний.

Что делать юноше и девушке, подпавшим соблазнам, поглощенным мыслями о беспредметной любви или о любви к известному лицу и потерявшим от этого известную долю возможности служить богу и людям? Все то же: не попускать себя на падение, зная, что такое попущение не освободит от соблазна, а только усилит его, и все так же стремиться к большему и большему целомудрию для возможности более

полного служения богу и людям.

Что делать людям, когда они не осилили борьбы и пали? Смотреть на свое падение не как на законное наслаждение, как смотрят теперь, когда оно оправдывается обрядом брака, ни как на случайное удовольствие, которое можно повторять с другими, ни как на несчастие, когда падение совершается с неровней и без обряда, а смотреть на это первое падение как на единственное, как на вступление в неразрывный брак.

Вступление это в брак своим вытекающим из него последствием — рождением детей — определяет для вступивших в брак новую, более ограниченную форму служения богу и людям. До брака человек непосредственно в самых разнообразных формах мог служить богу и людям; вступление же в брак ограничивает его область деятельности и требует от него возращения и воспитания происходящего от брака потомства, будущих служителей богу и людям.

Что делать мужчине и женщине, живущим в браке и исполняющим то ограниченное служение богу и людям, через возращение и воспитание детей, которое вытекает из их положения?

Все то же: стремиться вместе к освобождению от соблазна, очищению себя и прекращению

греха, заменой отношений, препятствующих и общему и частному служению Богу и людям, заменой плотской любви чистыми отношениями сестры и брата.

И потому неправда то, что мы не можем руководиться идеалом Христа, потому что он так высок, совершенен и недостижим. Мы не можем руководиться им только потому, что мы сами себе лжем и обманываем себя.

Ведь если мы говорим, что нужно иметь правила более осуществимые, чем идеал Христа, а то иначе мы, не достигнув идеала Христа, впадем в разврат, мы говорим не то, что для нас слишком высок идеал Христа, а только то, что мы в него не верим и не хотим определять своих поступков по этому идеалу.

Говоря, что, раз павши, мы впадем в разврат, мы ведь этим говорим только, что мы вперед уже решили, что падение с неровней не есть грех, а есть забава, увлечение, которое необязательно поправить тем, что мы называем браком. Если же бы мы понимали, что падение есть грех, который должен и может быть искуплен только неразрывностью брака и всей той деятельностью, которая вытекает из воспитания детей, рожденных от брака, то падение никак не могло бы быть при-

чиной впадения в разврат.

А то ведь это все равно, как если бы земледелец не считал посевом тот посев, который не удался ему, а, сея на другом и третьем месте, считал бы настоящим посевом тот, который удается ему. Очевидно, что такой человек испортил бы много земли и семян и никогда бы не научился сеять. Только поставьте идеалом целомудрие, считайте, что всякое падение кого бы то ни было с кем бы то ни было есть единственный, неразрывный на всю жизнь брак, и будет ясно, что руководство, данное Христом, не только достаточно, но единственно возможно.

«Человек слаб, надо дать ему задачу по силам», — говорят люди. Это все равно, что сказать: «Руки мои слабы, и я не могу провести линию, которая была бы прямая, то есть кратчайшая между двумя точками, и потому, чтоб облегчить себя, я, желая проводить прямую, возьму за образец себе кривую или ломаную». Чем слабее моя рука, тем нужнее мне совершенный образец.

Нельзя, познав христианское учение идеала, делать так, как будто мы не знаем его, и заменять его внешними определениями. Христианское учение идеала открыто человечеству именно потому, что оно может руководить его в тепереш-

нем возрасте. Человечество уже выжило период религиозных, внешних определений, и никто уже не верит в них.

Христианское учение идеала есть то единое учение, которое может руководить человечеством. Нельзя, не должно заменять идеал Христа внешними правилами, а надо твердо держать этот идеал перед собой во всей чистоте его и, главное, верить в него.

Плавающему недалеко от берега можно было говорить: «держитесь того возвышения, мыса, башни» и т. п.

Но приходит время, когда пловцы удалились от берега, и руководством им должны и могут служить только недостижимые светила и компас, показывающий направление. А то и другое дано нам.